

ЮРИЙ ПИЛЯР

**Люди остаются людьми.
Исповедь бывшего узника**



Юрий Пиляр

**Люди остаются людьми.
Исповедь бывшего узника**

«Издательские решения»

Пиляр Ю. Е.

Люди остаются людьми. Исповедь бывшего узника /
Ю. Е. Пиляр — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-502803-7

Действие романа разворачивается на фоне больших исторических событий. Это наступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, тяжелые бои при выходе из окружения группы наших армий юго-западнее Ржева, это полная драматизма борьба антифашистского подполья в известном гитлеровском концлагере Маутхаузен. Герой романа, от лица которого ведется повествование, — непосредственный свидетель и участник этих событий.

ISBN 978-5-00-502803-7

© Пиляр Ю. Е.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	7
Фронт	9
Глава первая	9
Глава вторая	19
Глава третья	28
Глава четвертая	36
Глава пятая	45
Неволя	55
Глава шестая	55
Глава седьмая	63
Глава восьмая	74
Глава девятая	81
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Люди остаются людьми. Исповедь бывшего узника

Юрий Евгеньевич Пиляр

Технический редактор Ирмели Таласйоки

Помощь в оформлении книги Людмила Маковейчук

© Юрий Евгеньевич Пиляр, 2019

ISBN 978-5-0050-2803-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



1924—1987

Юрий Евгеньевич Пиляр родился на Покров день в 1924 году в старинном русском городе Великий Устюг. Его родители происходили из потомственных дворянских семей.

Отец, Евгений Карлович, был репрессирован в марте 1938 года, а в декабре 1939 года умер, находясь в заключении.

В декабре 1941 года Юрий уходит добровольцем на фронт, только в октябре отметив свое семнадцатилетие. В феврале 1942 года в боях под Ржевом получает ранение. Летом, того же сорок второго года, прорываясь из окружения, Юрий снова ранен и контужен. В этом состоянии попадает в плен, который растянется почти на три года.

Пережив лагерь смерти Маутхаузен и другие лагеря, включая годовую проверку у себя на Родине, на Урале, – из бывшего фронтовика и узника постепенно выкристаллизовывается талантливый писатель, сумевший раскрыть всю правду и трагедию плена.

Юрий Пиляр является автором повестей «Поздней весной», «История моего друга», «В одном доме», «Последняя электричка», «Такой случай», «Пять часов до бессмертия», написанных в разное время. Автором – детской трилогии «Трепетное мгновенье», романов «Честь» и «Санаторий «Космос». Книга «Семейный альбом», в которую вошли неопубликованные при жизни произведения Юрия Пиляра, вышла только в 1999 году, стараниями дочери писателя, Ирины Юрьевны Пиляр.

На протяжении более двух десятков лет Юрий Пиляр представлял Российский комитет ветеранов войны в Международном комитете Маутхаузена.

После тяжелой болезни, накануне Международного дня узника, 10 апреля 1987 года, писатель умер, так и не дождавшись переиздания своей главной книги «Люди остаются людьми».



Предисловие

Известный военный писатель Юрий Пиляр не дожил до переиздания своего главного романа «Люди остаются людьми». Он пережил фронт, Ржевский «котел» и плен, длиною в два года, девять месяцев и 14 дней. На его долю выпали фашистские пересыльные лагеря в Белоруссии, Литве, Польше и лагерь смерти Маутхаузен, а после освобождения из немецкого плена – проверочные лагеря на Урале.

По сути, мученик и страдалец, Юрий Пиляр нашел в себе силы рассказать об ужасе такого чудовищного изобретения, как концентрационный лагерь, с его пытками, непосильными работами, издевательствами над людьми и газовыми камерами.

Писатель выполнил обещание, данное самому себе и ближайшим друзьям-солагерникам: донести до людей, до широкого круга читателей, всю правду о жизни «в аду» одного из самых страшных и жестоких концлагерей двадцатого века – лагеря смерти Маутхаузена. А писательский талант отметил в нем еще Илья Эренбург, который сам просил молодого 23-летнего человека, вчерашнего фронтовика и узника, почитать главы из записок о войне. «Книга «Люди остаются людьми» давно стала библиографической редкостью, все находившиеся в массовых библиотеках экземпляры до того зачитаны, что можно говорить о физическом исчезновении книги. Тем не менее, никто пока не собирается ее переиздавать...». Я привожу эту достаточно большую цитату из литературного наброска, как сам определил Юрий Пиляр жанр своего нового повествования, названного «Исповедь бывшего узника». Дата написания Исповеди – февраль 1987 года, дата смерти писателя – апрель 1987.

До конца жизни Юрий Евгеньевич пронес верность выбранной теме, теме разоблачения самого жестокого и кровавого в мире явления, имя которому фашизм. Явление, не оставшееся в глубинах Истории, а продолжающее проникать своими кровожадными щупальцами в наши дни.

Книги Юрия Пиляра были посвящены не только испытаниям в годы войны, но и судьбам бывших узников в мирное время, и судьбе легендарного генерала Карбышева, уничтоженного в 1945 году фашистскими палачами в том же Маутхаузене... Почему же до сих пор не переиздают книги Юрия Пиляра? И самое печальное – почему не переиздают его лучшее произведение, получившее признание во многих странах и переведенное на разные языки мира?

Речь об автобиографическом романе «Люди остаются людьми». Об известности книги говорит факт создания в 1965 году телефильма с тем же названием¹.

А что же книга? Попытаемся разобраться. Представители журналов и издательств после знакомства с произведением качают головами и отводят глаза. «Да, несомненно важная тема, раскрыта с большим мастерством...» – говорят они и ссылаются на большие планы, загруженность производства, недостаток средств. Хорошо, когда хоть *что-то* говорят, но часто просто не вступают в переговоры. Однажды даже привели аргумент, что книга «слишком советская»! Вот тебе *на!* Это все равно, что сказать «рыба слишком мокрая, а улитка слишком медлительная». Ведь какова среда обитания, таков и обитатель. Попробуйте в семнадцать лет, прожив эти годы в советском селе, быть чем-то иным, а не типичным советским пареньком, верящим до глубины души в справедливость строя. Отец и мать не говорили о политике, а просто хотели воспитать честного и доброго человека. Кого эти качества могут смущать? А быть честным – это разве не принимать в сердце ту жизнь, которая тебя окружает? Школа, друзья, сельский

¹ Режиссер: Дмитрий Вурос Страна: СССР. Год: 1965 Актеры: Марина Ладынина, Людмила Давыдова, Людмила Марченко, Виктор Уральский, Виктор Маркин, Владимир Земляникин, Валериан Виноградов, Георгиос Совчис Жанр: драма, экранизация Телевизионный фильм по одноименному роману Юрия Пиляра. Фильм положили «на полку» – на экран он так и не вышел и с тех пор не издавался на носителях. Последнее обновление информации: 02.06.19 Энциклопедия сайта Кино-Театр.РУ Полная версия информации://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/12942/annot 6

труд, большая библиотека в доме родителей... И в итоге вся эта жизнь откладывается в сердце как образ Родины. Именно к этому образу больше всего прибегает писатель, когда описывает свое тяжелейшее состояние при побеге из плена, когда стоял перед расстрелом; когда видел, как увозили пленных в газовую камеру... И как можно не поверить в искренность слов юноши-патриота о нестигаемости духа большинства бойцов-коммунистов; о радости праздновании Первой в условиях пересыльного лагеря, – и в искренность других наивных убеждений семнадцатилетнего юнца, помогающих ему проявлять мужество и стойкость в непереносимых, нечеловеческих условиях фашистского плена! А за всем этим создается невероятная по глубине и точности описания картина ежедневных будней и каторжного труда узников, их надежд и чаяний, их постепенного превращения в «доходяг» - дистрофиков. Даже в таком тяжелейшем состоянии они находили возможность помогать еще более немощным товарищам. Узники, попавшие за провинность в руки истязателей, старались из последних сил отстоять свое человеческое достоинство и бросались порой на колючую проволоку под током. Автор рассказывает о таких людях, потому что знал их лично, с ними проходил эти жестокие круги ада...

Писатель Юрий Пиляр прожил всего 62 года. В октябре 2019 ему исполнилось бы 95 лет. Ветеран войны, узник Маутхаузена, светлый человек. На интернетных просторах последние годы все чаще мелькают названия электронных книг и предложения заказать экземпляр. С удивлением я увидела среди предложений названия книг моего отца, и в том числе, конечно, роман «Люди остаются людьми». Пусть на совести так называемых «публикаторов» остается это бесправное распоряжение чужой интеллектуальной собственностью по своему усмотрению. Но мне, как дочери писателя и его близкому человеку, хотелось бы выполнить свой дочерний долг, а может быть и «долг перед Родиной». Эту фразу «Я выполнял свой долг перед Родиной» на немецком языке произнес в ответ немецкому полковнику мой отец, когда на допросе, перед явной угрозой расстрела, тот спросил его, зачем он совершил побег. Накануне большого праздника – Дня 75-летия Победы – издание правдивой и талантливой книги об угрозе фашизма, такой актуальной и в наши дни, наверное, тоже можно рассмотреть, как выполнение долга перед нашей многострадальной Родиной. Поэтому книгу, которая была выдвинута на Государственную премию и получила горячий отклик в сердцах читателей, приславших в свое время гору благодарственных писем, сейчас приходится переиздавать за свой счет. Вместе с романом «Люди остаются людьми» публикуется и незаконченная «Исповедь бывшего узника», которая в своем роде может послужить послесловием романа. Здесь появляются многие новые оценки жизни (и ее переосмысления) уже зрелого человека, известного писателя Юрия Пиляра, за плечами которого такая невероятная судьба.

Хочется верить и надеяться, что книга вновь займет достойное место в нашей литературе и обретет своего благодарного читателя.

Москва 2019 г.

Ирина Пиляр

*Двадцатый век. Бродивших по дорогам,
Среди пожаров, к мысли привело:
Легко быть зверем, и легко быть богом,
Быть человеком – это тяжело.*

Евгений Винокуров

Фронт

Глава первая

1

На фронт я пошел добровольно. 14 декабря 1941 года солнечным морозным утром я постучался в избу, где квартировали командир и комиссар части, остановившейся по пути с Урала в большом вологодском селе для короткого отдыха.

В этом же селе жили мы, мобилизованные на рытье окопов, – занятие, на мой тогдашний взгляд, совершенно бесполезное: был разгар нашего наступления под Москвой...

На мой стук за дверью прогремел низкий голос:

– Войдите!

Я вошел и увидел плотного рыжеватого майора, обутого в новые валенки. Я поздоровался и протянул рекомендательное письмо, которым накануне снабдил меня знакомый политрук.

– Комиссар, это тебе, – посмотрев на конверт, крепким, густым басом сказал майор.

Из-за перегородки появился высокий военный, молча взглянул на меня и отошел с письмом к окну.

– Проситесь добровольцем, – резко сказал он через минуту.

Майор поднял густые рыжие брови.

– Никаких добровольцев мы брать не можем. Комиссар сел на стул. Майор – на лавку к столу.

Я стоял у порога, комкая в руках шапку.

– Не можем, – звучно и низко повторил майор. Я был упрям.

– По-моему, я не в гости к вам прошусь...

– Что? – удивился майор.

– Я хочу воевать. Майор надел очки.

– Сколько вам лет? – спросил он, как-то по-новому, серьезно и придирчиво разглядывая меня.

– Вы садитесь, – сказал комиссар и закурил папиросу.

– Восемнадцатый, – ответил я, проглотив конец слова так, что могло послышаться «восемнадцать». Точно – мне было семнадцать лет и два месяца.

– Вас надо еще учить, – сказал майор.

Я расстегнул ватный пиджак, чтобы были видны мои оборонные значки – я предусмотрительно надел их, отправляясь в штаб части, – и полез в карман за документами.

– Вот справка. Все «отлично». По военному делу тоже. – Я выложил на стол все свои бумаги. – Подлинник аттестата в Ленинградском институте журналистики имени Воровского, – добавил я для солидности.

Майор пробежал глазами мои бумаги и передал комиссару.

– И все-таки не можем.

– Но почему?

– Убить могут.

– Не всех же убивают, – глубокомысленно заметил я.

– Скажите, пожалуйста! – Майор иронически усмехнулся и посмотрел на комиссара. – Романтика заедает молодежь, опоздать бояться... Твое мнение?

Комиссар, по-видимому, колебался.

– Значит, редактировали стенгазету? – для чего-то спросил он (об этом было написано в характеристике, выданной мне директором школы).

– Романтика! – снова загремел басом майор. – Губительная, вредная романтика!

– Романтика бывает всякая, – сдержанно сказал комиссар. – Бывает и хорошая. Бывает и такая, без которой вообще нельзя... Знаешь что, – сказал он, обращаясь к майору, – давай возьмем его на свою ответственность в порядке исключения.

Я притаил дыхание.

– Формальные трудности, я думаю, мы преодолеем...

– Дело не в формальных трудностях, а в существе, – вставая, сказал майор. Стали видны морщины и тяжелые складки возле его рта. – Что он знает о войне и что будет делать на войне? На экране, сам понимаешь, все это выглядело красиво, в книжках – здорово... Я хочу предупредить вас, – глядя на меня серьезными, пожалуй, слишком серьезными, глазами, сказал майор, – предупредить, прежде чем дать окончательный ответ. Война – это не то, что вы себе представляете или можете сейчас себе представить. На войне убивают...

– Товарищ комполка... – негромко сказал комиссар.

– Обожди, – остановил его майор. – Я хочу, чтобы они знали, на что идут. Убивают, понятно вам?.. Это тяжелый труд. Война – это грязь, голод, окружения, когда вы будете валяться с разорванным животом и никто не сможет помочь вам. Это постоянный страх перед смертью... И все это будет продолжаться долго, нам придется еще долго воевать... Подумайте, потому что обратного пути не будет.

Я был несколько озадачен и не нашелся сразу, что ответить.

– Вы, конечно, можете еще подумать, – сказал комиссар. – Подумайте наедине с собой, со своей совестью. Нам нужны сознательные бойцы, тут командир прав. Тем более, что в армии вы не служили.

– Да и щупловат он, может просто не потянуть, – чуть пренебрежительно, как мне показалось, сказал майор.

Это меня задело. Я был хорошим физкультурником и гордился тем, что умею «крутить солнце» и ходить на руках. Кроме того, не за красивые же глаза мне дали четыре оборонных значка...

– Я подумал, – заявил я твердо, успев еще подумать только о том, что, майор, наверно, испытывает меня и поэтому сгущает краски. – Возьмите. Потяну не хуже других.

На этот раз майор не ответил. По-видимому, он тоже колебался. Сердце мое громко стучало.

– Я буду стараться. Даю слово...

– Ну, бог с тобой, – вдруг сдался майор. Ему, вероятно, были нужны бойцы.

Он поднял трубку полевого телефона.

– Начальника штаба... Сейчас к вам подойдет молодой товарищ, гражданский, да. Оформить его к Горохову... Ничего, оправдаемся. Пока все.

– Спасибо, – сказал я.

– Поздравляю, – сказал комиссар.

– Служу Советскому Союзу! – взволнованно отчеканил я.

В штабе полка, расположенном по соседству, я отдал свой паспорт и вскоре получил пакет, на котором было написано название одной из ближних деревень и крупными печатными буквами – «Горохов».

«Горохов так Горохов», – уже весело думал я, шагая по сверкающей на солнце дороге. Теперь я был абсолютно убежден, что майор, рисуя всякие ужасы, просто проверял, не трус ли я.

Мороз щипал нос и уши. Глаза резало от острого блеска снега. Голубыми столбами высились над трубами дым. Деревушки тонули в глазированных сугробах – точь-в-точь как на картинках из старых отцовских журналов.

Я пел песни, которые мы пели до войны: «Три танкиста», «Катюша», «Если завтра война». Пропою куплет и подсчитываю ногу: «Раз, два, три!.. Раз, два, три!»

Потом вспомнилась мать, и стало грустно. И немного жалко себя и ее. Вспомнилось, как ненастным ноябрьским днем она провожала меня на оборонные работы. Она была уже старенькая, и я не позволил ей идти со мной на станцию. В последнюю минуту, глядя в ее тоскующие глаза, я смутился. Я догадался, что она поняла сердцем своим, что я уйду надолго и, может быть, мы никогда больше не увидимся. Я попросил ее сказать что-нибудь мне на прощание. «Что сказать? – ответила мама (голос ее дрожал). – Будь всегда честным...». Мне почему-то хотелось, чтобы она просила меня побережь себя.



– Раз, два три! – опять стал я подсчитывать ногу, снова запел про трех танкистов и так незаметно дошел до деревни.

Через час по распоряжению командира батареи старшего лейтенанта Горохова я был обмундирован, зачислен в отделение разведки взвода управления, затем вместе с политруком побывал в штабе оборонных работ и, получив там расчет, вернулся на батарею.

С наступлением вечера, счастливый и гордый, я шагал за стандартной воинской повозкой в колонне бойцов. Я смотрел на дальние огоньки утонувших в морозной дымке деревень, на серьезные лица своих новых товарищей и не понимал, почему они не разделяют моей радости.

Тем же вечером мы погрузились в товарные вагоны-теплушки и поехали на фронт.

* * *

Светлый соснячок, голые белоствольные березки, а рядом большие черные ели, облепленные мерзлым снегом. Под ними сейчас наш дом: там в шалашах сидят мои товарищи – дремлют, мерзнут, скупно переговариваются. Костры разводить нельзя: могут заметить немцы. Но им и так, наверно, известно, что мы в этом лесу: над нами все время кружатся вражеские самолеты и хлещут пулеметными очередями...

Борясь с сонливостью и слабостью, я брожу по светлой опушке, чтобы согреться. Надо мной низко проносится серебристое брюхо самолета, мелькает черная рокочущая тень, а впереди красиво отваливаются белые на сломе мутовки елей. Рокот отходит волной, а через

минуту новая нарастающая волна – отлетает сучок сосны, возле меня падает нежная березка, будто срубленная топором. Березку жалко.

Я наклоняюсь и вижу в снегу на промерзшем листке бумаги женский портрет. Носком валенка выбиваю из снега журнал. Это что-то интересное: журнал немецкий, иллюстрированный; с обложки на меня смотрит красивая женщина с копной темных волос. Читаю под портретом: «Франческа Гааль»... Неужели это та самая – из «Петера» и «Маленькой мамы»? Как она сюда попала?

Чья-то рука ложится мне на плечо. За моей спиной стоит человек в белом командирском полушубке.

– Читаешь?

– Франческа Гааль, – говорю я. – А вы кто?

– Помощник оперуполномоченного полка, Коваленко.

Кажется, я мигом согреваюсь.

– По-немецки читаешь? – уточняет он.

– По-немецки.

Что же мне еще отвечать?

Коваленко отбирает у меня журнал, прячет его в полевую сумку.

– Какого подразделения?

– Батарея старшего лейтенанта Горохова, – упавшим голосом докладываю я. По-видимому, я попал в глупую историю.

– Идем к командиру.

Помощник оперуполномоченного ведет меня к шалашу, где отдыхает Горохов. Может быть, командир батареи заступится за меня?

– Горохов, – наполовину просунувшись в шалаш, говорит Коваленко, – ты почему не сообщаешь, что у тебя люди с немецким языком?

– Кто такие? – слышится изнутри.

– А вот... – Коваленко оборачивается. – Как твоя фамилия?

Я называю.

– Так он новичок... Я хочу сделать из него хорошего артиллериста, – отвечает из шалаша Горохов.

– Ты приказ знаешь? – насаждает Коваленко.

– Знаю, но мне нужны артиллеристы.

– Я забираю его. Идем! – тоном, не допускающим ни малейшего возражения, говорит Коваленко.

Что ж, наверно, это его право.

– Вещи брать?

– Все бери, – говорит Коваленко.

Допрос начинается уже по дороге. Мы идем через искалеченный бомбами и пулями лес, прячемся за толстые стволы, когда к нам с грохотом и ветром приближается очередной пулеметный ливень с самолета, и за это время я успеваю ответить на все предварительные вопросы: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, социальное положение, партийность.

Записи Коваленко не ведет. Вероятно, во фронтовых условиях это излишне.

– А откуда знаешь язык?

Как ему сказать? Я еще в восьмом классе, готовясь к будущей профессии журналиста, начал брать уроки немецкого и французского у одной старушки, платя за ее труды тем, что, в свою очередь, занимался по математике с ее пятнадцатилетней внучкой, девочкой хорошенькой и в общем неглупой, но поразительно неспособной к точным наукам... Так и говорю.

– Хорошенькой? – подозрительно переспрашивает Коваленко.

Уже смеркается, когда мы выбираемся из леса и подходим к глухой черной деревеньке. У помощника оперуполномоченного довольный вид: как же, поймал важного преступника... Нелепая, досадная история!

Заходим в избу. Окна закрыты плотной бумагой. За кухонным столом при свете коптилки сидят люди и что-то пишут. Коваленко оставляет меня у двери и, шагнув вперед, радостно докладывает:

– Товарищ майор, нашел! Это обо мне?..

Из-за перегородки показывается плотный рыжеватый человек – я сразу узнаю в нем командира полка майора Шлепкова.

– Ба, наш доброволец!.. Комиссар, тут наш вологодский доброволец! – звучным басом восклицает Шлепков.

– Хороший хлопец, – вставляет довольный Коваленко.

Я ничего не понимаю.

– Проходи, – зовет меня за собой Шлепков. Оставив карабин у двери и сняв шапку, прохожу.

– Садись к столу.

Сажусь. Перед моим носом появляется бумага с немецким текстом. Написано на машинке.

– Ну-ка, переводи, раз ты у нас такой образованный, – говорит Шлепков.

Я читаю сперва про себя, потом начинаю переводить вслух фразу за фразой. Текст очень простой, не надо даже словаря. Я перевожу довольно бегло и без запинок.

– Очень хорошо, очень важно, – сразу посерьезнев, говорит Шлепков. – Начштаба, дайте знать об этом документе в штадив и заодно подготовьте распоряжение по личному составу... Как у нас именуется эта должность?

– Военный переводчик второго разряда, – отвечает сухопарый капитан, тот самый, который недавно давал мне направление к Горохову.

– Вот-вот. Оформите... Молодец, доброволец! Я рад, – говорит Шлепков и вместе с комиссаром уходит.

– Видишь, – улыбаясь, говорит мне Коваленко, – неплохо разбираемся в людях.

Оказывается, у него симпатичное лицо: курносый нос и живые, веселые глаза.

И все-таки я еще не совсем понимаю, что теперь со мной будет. Справляюсь у Коваленко. Он подтверждает, что я буду работать в штабе полка переводчиком.

Чудо какое-то!

Мне разрешают сходить на батарею за ужином и отдыхать до завтрашнего дня.

2

Моя служба военным переводчиком начинается в первую же ночь. Возвратившись из расположения батареи, я устраиваюсь на охапке сухой, теплой соломы в той половине избы, где отдыхают все штабисты, сплю без сновидений и вдруг слышу: «Переводчик!» Меня кто-то трясет, дергает за шинель.

– Переводчик! – кричит кто-то надо мной.

Я хочу повернуться на другой бок, но мне не дают.

– Встаньте, вас комиссар полка, – говорит над моим ухом незнакомый голос.

Вскакиваю, протираю глаза. Спросонья ничего не разберу: кто переводчик, зачем я нужен комиссару.

– Переводчик, проснись, – произносит резкий голос комиссара полка.

Да, это я теперь переводчик...

В темной комнате круг света от коптилки, и в этом желтом мерцающем кругу стоит долговязый, нескладный немец в пилотке, обмотанный женским платком. Комиссар сидит в тени за столом, штабисты приподнялись со своих мест и с любопытством взирают на пленного.

– А ну, поговори с ним, – приказывает комиссар. Подхожу к немцу поближе. Он выше меня на целую голову и дрожит. Где это его прихватили?

– Ирэ намэ унд форнамэ? – начинаю я.

Так близко мне еще не приходилось видеть живого врага. Почему-то ощущаю неловкость. Немец вдруг раздражается потоком слов, на что-то, вероятно, жалуясь.

– О чем он? – спрашивает комиссар.

– Сейчас, – говорю я, вслушиваясь в невнятный лепет... Ни черта нельзя понять: сплошная мешанина из незнакомых слов.

– Биттэ, лангзамер, – прошу я.

– Да о чем это вы? – нетерпеливо снова спрашивает комиссар.

– Я спросил его имя и фамилию и попросил говорить медленнее... У него какой-то странный диалект.

– Байерн? – обращаясь к немцу, называю я наугад одну из известных мне земель Германии.

– О, я, – обрадованно кивает немец. – Пайерн. Аукспурк.

– Он из Баварии, из Аугсбурга... У них там очень своеобразный диалект, – докладываю я комиссару.

– Аугсбург я тоже понял, – вставая, говорит комиссар. – А какой он части?

Я перевожу вопрос. Немец отвечает.

Перевожу на русский трехзначное число – номер гренадерского полка, к которому принадлежит пленный. Это несложно.

– Ну, ладно. В штабе дивизии его допросят как следует. Отдыхайте, – говорит комиссар. Немца уводят. Немного смущенный, я возвращаюсь на ворох соломы.

Утром чуть свет меня будит Коваленко – зовет умываться. В его руках котелок теплой воды и кружка. Он по всем правилам чистит зубы, не спеша намыливается. Я поливаю ему из кружки.

– Теперь давай тебе, – предлагает он.

После завтрака – чая из общего котла, который мы пьем с сахаром и сухарями, – Коваленко представляет меня своему начальнику, оперуполномоченному полка Милютину, художавому человеку с бледно-розовым лицом. Милютин дает мне две бумажки. Я тут же перевожу тексты пропуска и удостоверения предателя-полицая. Затем меня подзывает капитан, начальник штаба.

– Посмотрите, – говорит он, указывая на стопку аккуратных листов, лежащих на столе.

Разбираю листки. Это письма из Гамбурга, написанные мелким готическим шрифтом. В конце каждого: «Твоя любящая Эрна».

– Что это? – интересуется капитан.

– Письма какой-то Эрны.

– Тогда оставьте. Мы перешлем их в политотдел.

Капитан критически оглядывает мою шинель, прожженные у костра валенки, потом берет четвертушку бумаги и, нацарапав на ней несколько слов, вручает мне.

– Ступайте на вещевой склад. В конце деревни, на нашей стороне.

3

Вернувшись в штаб, некоторое время осматриваюсь.

На служебной половине избы за перегородкой сидят начальник штаба и его первый помощник, безусый лейтенант с девичьим румянцем. Перед ними потертая на изгибах карта и кипа помятых бумаг, очевидно, боевых донесений. Румяный лейтенант пишет, а начальник штаба диктует ему, заглядывая в карту.

У стены на железной кровати лежат одетые в полушубки помощник начальника по разведке, рыхловатый немолодой мужчина, и помощник по связи, смуглый, круглолицый, с узкими черными глазками младший лейтенант Малинин. Похоже, что они предаются мирным воспоминаниям.

По другую сторону перегородки, ближе к выходу, за кухонным столом восседают писаря. Возле них пузатый сундук, в котором они хранят документы и котелки с недоеденной кашей. В сыром, заиндевавшем углу стоят их винтовки. Писаря затачивают карандаши и о чем-то шепчутся.

На широкой нетопленной русской печи, свесив головы, дремлют связные из подразделений. У двери – сонные телефонисты с наушниками, надетыми поверх шапок.

«И это боевой штаб!» – думаю я. Странно. Штаб полка я рисовал себе совсем иным.

И вообще я рисовал себе все иным. Мы уже больше недели на фронте, но ни развернутых знамен, ни окружений, ни даже особенного страха перед смертью – ничего не было; только длительные ночные переходы, бомбежки, обстрелы, и все время очень хотелось спать...

Ни командира, ни комиссара в штабе не видно: они, кажется, занимают отдельный дом. Милютина и Коваленко тоже нет.

Поначалу я решительно не знаю, к какой группе пристать, как держаться и, главное, что делать. Ведь должен я что-то делать, раз меня взяли сюда?.. Дождавшись, когда начальник штаба заканчивает диктовать, прошу у него письма Эрны. Пристроившись затем на лавке, старательно надписываю огрызком карандаша над немецкими словами русские, чтобы в политотделе легче было сделать полный перевод...

К обеду обстановка в штабе резко меняется.

Вдруг все летит кувырком.

Сперва до слуха доносится глухое гудение, и все настораживаются.

– Воздух! – распахнув дверь, выкрикивает кто-то. Потом почти одновременно слышится мощный звук близкого бомбового разрыва и могучее рокотание, сотрясающее стены избы.

Начальник штаба торопливо собирает со стола бумаги и запихивает в полевую сумку. Помощник по разведке и Малинин соскакивают с кровати. Телефонист у двери кричит:

– Товарищ третий, вас первый!

Начальник штаба большими шагами идет к ящику телефона. В эту минуту раздается еще более близкий взрыв – с печи сыплются связные. Писаря поспешно укладывают папки в сундук. Новый оглушительный, до ломоты в ушах взрыв – начальник штаба бросает трубку и выскакивает в сени, на ходу цепляя крючки полушубка. Вслед за ним с непостижимой быстротой исчезают писаря, таща за ручки громоздкий сундук. Вылетают наружу первый и второй помощники начальника штаба. У двери растерянно топчутся связные и один молоденький губошлепый телефонист, другой отправляется исправлять повреждение.

Малинин садится за стол начальника. Я присаживаюсь на край железной кровати, покрытой поверх досок плащ-палаткой. Ухает очередной взрыв.

– Между прочим, а почему ты не идешь в блиндаж? – певучим, медлительным тенорком спрашивает меня Малинин.

– В какой блиндаж?

Малинин удивленно уставляется на меня, будто я с неба свалился.

В этот момент что-то с жутким воем низвергается на нас, адски ударяет. Тоненько звякает стекло, вылетевшее из верхней части окна (нижняя забита досками).

– Вот, – произносит Малинин, снимая ушанку и стряхивая с нее песок.

– Да, – отвечаю я.

– Пожалуй, пошли? – предлагает он.

Становятся слышны басовитые очереди авиационного пулемета. Бомбардировщики продолжают рокотать и выть, опускаясь в пики, но разрывов больше не раздается.

– Отбомбились, – говорю я.

– Да? – Калинин намеревается опять сесть.

– Может, посмотрим?

– Что ж, можно и посмотреть.

Он берет через плечо свой автомат ППШ, я – карабин, и мы выходим.

4

В глаза бросается прежде всего огромная, еще дымящаяся, желтоватая по краям воронка. За ней непривычно зияет пустота: там был домик – его словно ветром сдуло. Валяются лишь темные бревна и обломки кровли. В белесоватом небе гудят, постреливая, немецкие самолеты, а со стороны леса, где сутки назад стояла наша батарея, доносятся частые разноголосые переговоры автоматных очередей.

– Дело швах, – прищуриваясь, говорит Калинин. – В том домике помещалось наше командование.

Сбежав с крыльца, мы направляемся к развалинам – убитых вроде нет. Поворачиваем обратно и видим, что в штабную избу вносят человека в белом полушубке, вероятно, ранен. Кто же это?

Спешим вслед. Раненого укладывают на широкой лавке. У него пепельно-серое лицо с провалившимися щеками. Правый рукав полушубка распорот, рука привязана к дощечке и обмотана белым. Я с трудом узнаю начальника штаба. Около него хлопочут его первый помощник, румяный лейтенант, и штабной санинструктор.

Писаря тоже вернулись. Сидят вокруг сундука, держа винтовки между колен. Связные на месте. Губошлепый телефонист, вытянувшись, что-то взволнованно докладывает Калинин.

Начальник штаба открывает посиневшие веки. Двигает желваками, видимо, борясь с мучительной болью.

– Калинин, сукин сын... Где связь? – сдавленно произносит он. – Связь с батальонами... Марш!

– Есть! – бледнея, отвечает Калинин и пулей выскакивает из избы.

Появляется запыхавшийся оперуполномоченный Милютин.

– Капитана эвакуировать... Возьмите мою лошадь, – говорит он санинструктору. – Приказ командира полка, – объясняет он лейтенанту.

Начальник штаба вновь закрывает глаза.

– Майор приказал срочно вывезти документы, – продолжает Милютин. – Только быстро, пока не поздно!

Лейтенант идет за перегородку. Писаря – они словно того и ждали – хватают сундук и скрываются за дверь.

– Остальным занять оборону. – Милютин, потирая высокий лоб, садится к столу.

Начальника штаба уносят.

За окном, нарастая, перекачиваются пулеметные и автоматные очереди. Никто из штабных командиров не возвращается.

Помедлив с минуту, Милютин встает, поднимает чью-то винтовку, прислоненную к железной кровати, щелкает затвором.

В штабной избе только связные – их пятеро, – два телефониста и я.

– Идемте, – говорит нам Милютин.

На улице посвистывают пули. Вовсю светит солнце. Морозный воздух спирает дыхание... «Но почему Милютин? Разве это его дело?» – мелькает у меня.

Мы залегаем возле сарая в цепь. Все ближе и громче трещат автоматные очереди. В стороне, по полю и за дворами, видны перебегающие фигурки наших бойцов.

– Задача: не допустить прорыва автоматчиков к штабу. Стрелять по цели, – приказывает Милютин. Глаза его широко раскрыты – яркие влажные синие глаза. Тонкая кожа на лице в малиновых пятнах.

Очевидно, немецкие автоматчики уже просочились на окраину деревни: очереди перекачиваются совсем рядом.

– По окнам крайнего дома справа и огороду... Пли! – командует Милютин.

Мы стреляем. Получается внушительно – залп. Перезаряжаем винтовки. Тянет кисловатым дымком.

Снова залп. Опять перезаряжаем. Немцы на какое-то время перестают. Милютин выжидает: у нас мало патронов.

И вдруг я вижу, как через дорогу метрах в ста пятидесяти от нас перебегают, точно мыши, зеленые человечки.

– Пли, пли! – кричит Милютин.

Мы стреляем, но зеленые секундой раньше успевают упасть. Пули начинают густо сеять, стучат по бревнам сарая, визжат, отлетая рикошетом.

– Обходят, – тревожно шепчет мой сосед, из связных. – Гляньте, нос у меня не побелел?

– Пли!

– Ох! – слабо произносит сосед.

Выстрелив, я гляжу на него: он уронил голову в снег и недвижим.

Автоматы стучат уже слева. Милютин приказывает взять у убитого патроны и по одному перебираться к другому двору. На новом месте нас оказывается всего шестеро вместе с Милютиным. Мы опять стреляем, пока автоматчики снова не обходят нас.

– Только бы продержаться до сумерек, – цедит сквозь зубы Милютин, с ненавистью поглядывая на красный шар солнца, застывший над лесом.

Мы еще трижды меняем позицию. У меня остается два патрона.

– К овину! – приказывает Милютин.

Теперь нас четверо: убило еще двоих, в том числе губошлепного молоденького телефониста.

У овина в голубоватых сумерках вижу крепкую фигуру командира полка Шлепкова. Укрывшись за угол, он тоже стреляет. «Как Чапаев», – думаю я. Здесь же, окопавшись в снегу, все штабисты, вооруженные винтовками, и комиссар.

За овином по одну сторону – бугор, по другую – поле, и на поле – силуэты отходящих к низкому темному лесу бойцов. Вероятно, немцам удалось бесшумно снять наших часовых.

С бугра скатывается белозубый, с кудрявым чубом лейтенант. «Как чапаевский Петька», – опять думаю мне. В руках у него автомат. За ним по крутизне съезжают на спинах трое красноармейцев.

– Товарищ майор, кончились патроны, – хрипло, виноватым тоном докладывает Петька-лейтенант.

Рядом грохочет дующая пулеметная очередь.

Шлепков, комиссар, Милютин, а за ними все штабные начальники и бойцы по одному мчатся через снежное поле, падая и поднимаясь. Лейтенант вскидывает автомат и бьет по верхушке бугра – всего несколько секунд, потому что автомат вдруг намертво умолкает.

– Бежим, – говорит лейтенант.

Он надвигает шапку на чуб, пропуская меня вперед. Бегу, падаю и отползаю в сторону – это все уже знакомо. Снова знакомое ощущение невесомости. Снова чирикают злые пташки – пули. Но вот опасность как будто миновала: позади тишина.

Беру карабин на ремень и, переводя дух, оглядываюсь. Меня нагоняет лейтенант. Вместе доходим до опушки леса, где в снежных траншеях сидят бойцы, потом присоединяемся к цепочке бредущих по лесной дороге людей.

Примерно через час, свернув на проселок, мы вступаем в темную тихую деревню. В конце улицы, за полем, которое вырисовывается, как мглистое пятно, взлетают осветительные ракеты и погромыхивают выстрелы: там передовая. Там в снежных окопах мерзнут в обнимку с винтовками бойцы, и где-то там, немного позади их, стоят наши пушки...

Штаб полка размещается в большой пятистенной избе. Когда я захожу, в ней уже все готово: окна зашторены, у двери сидят телефонисты, писаря оттачивают карандаши.

Как будто ничего страшного и не было!..

Без четверти двенадцать наши кружки наполняются водкой. На столе консервы, белые сухари, копченая колбаса из посылок, присланных нам из тыла под Новый год.

– С Новым годом, товарищи! – встав, говорит исполняющий обязанности начальника штаба румяный лейтенант.

– За победу! – подняв кружку, говорит Малинин. – И чтобы не было так, как сегодня...

– С Новым, победным годом! – раздаются голоса.

Мы чокаемся и пьем. Потом сразу, не сговариваясь, ложимся отдыхать – все, кроме оперативного дежурного.

Глава вторая

1

Я примащиваюсь в ногах у Малинина на лавке и, кажется, только-только засыпаю, как вдруг удар сумасшедшей силы сбрасывает меня на пол. Через голову летят осколки стекла, волна морозного воздуха окатывает и разливается по полу.

– В ружье! – вопит голос нашего дежурного.

В кромешной тьме хватаю карабин, ноги – в валенки, и к выходу. У двери давка: застрял сундук.

– Так вашу мать! – кричит юный звенящий голос лейтенанта.

Он дергает кого-то за шиворот, кому-то поддает коленкой под зад. Наконец пробка рассыывается, и мы на улице.

Б-б-бах! Думается, всего в десятке шагов от нас сверкает косой грохочущий вихрь.



Мы кидаемся врассыпную. Дождь осколков падает сверху. В ту же минуту нас подхватывает темный бурлящий поток и увлекает за собой.

Мы куда-то бежим. Мы бежим из деревни по снежной целине – бойцы с винтовками и командиры с револьверами в руках, – бежим, обгоняя друг друга. Сзади нас гремят разрывы и стучат пулеметы. Мы бежим, пока не попадаем в большой овраг.

И сразу все стихает... Настает рассвет. Я вижу кругом смущенные лица. Что же опять случилось?

Отправляюсь на поиски своих. В конце оврага в кустах толпятся люди в белых полушубках. Вижу красное хмурое лицо командира полка. Комиссар, вытянув руки по швам, замер перед маленьким подвижным человеком. Тот, энергично потрясая кулачком, вероятно, отчитывает его.

Шлепков стоит в стороне. Грузный, с одутловатым лицом подполковник водит пальцем по раскрытой планшетке, которую держит перед ним коренастый, похожий на молодого медведя командир.

Через минуту Шлепков и комиссар полка, понурившись, идут к одной повозке – их, наверно, отстранили от командования, – маленький, подвижный человек шагает к другой. У грузного подполковника в руках появляется бинокль.

Коренастый командир отдает распоряжения. По оврагу разносятся негромкие протяжные крики команд. Все заряжают винтовки, карабкаются по склону, потом выскакивают из-за укрытия и несутся по истоптанному снеговому полю обратно к деревне.

До деревни метров триста. Я вижу густую цепь бойцов, катящуюся полукольцом. В центре – напоминающий медведя командир с винтовкой наперевес. Мы с Малининым бежим в цепи шагах в двадцати от него. Это что-то совершенно новое: без артподготовки, без стрельбы и даже без криков «ура».

Мы успеваем преодолеть, наверно, половину пути, когда со стороны деревни раздаются первые беспорядочные выстрелы. Мы не обращаем на них внимания и несемся дальше. Кто-то рядом падает. Но мы несемся. Наш командир бежит впереди, упруго отталкиваясь короткими сильными ногами. Грохочут сразу несколько пулеметов. Снова с размаху падают люди. А наша молчаливая, ощерившаяся винтовками цепь, сужаясь, уже берет деревню в клещи. Серые фигуры справа, прыгая и пригибаясь, достигают крайних дворов...

Внезапно пулеметы смолкают. Утихают ружья. Теперь становятся слышны крики впереди, на другом конце деревни, и это не наши крики: гортанные и панические.

Вот обломки раскиданных жердей, черный сарай, свежие задымленные воронки. Закопченный, рябой от осколков снег. Стена избы в белых ссадинах.

Так это же наша штабная изба! Я останавливаюсь, судорожно лоя ртом воздух. Поспевает Малинин. Мы взбегаем на крыльцо, врываемся внутрь: точно, наша изба. Малинин, топчя стекла, бросается в угол.

– Никого нет? – кричу я.

– Никого и ничего, – отвечает Малинин.

В сенях за дверью слышатся шаги и возбужденные осипшие голоса.

2

В избу заходит коренастый командир, за ним наш начальник штаба, лейтенант, и остальные штабисты. Все веселые, шумные, красные от холода и бега.

– Так это твоя хата, начштаб?

– Так точно, товарищ командир полка, – отвечает лейтенант.

– А красиво мы их турнули, а? – Коренастый показывает в улыбке два ряда ровных, крепких зубов. – А?

– Лихо, товарищ комполка.

– Ну добре, затыкайте окна и за дело. Смотрите, чтобы фрицы снова не преподнесли нам букет воюющего запаха.

– Слушаюсь, – говорит лейтенант. – Разрешите представить командиров штаба?

– Давай... Старший лейтенант Симоненко, ваш новый командир полка, – называет он себя первым.

Пока штабные начальники, подходя и козыряя, знакомятся с новым командиром, я украдкой разглядываю его. Лицо у Симоненко обветренное, губы твердые, в светлых глазах – умные чертики. На голове ушанка с подоткнутыми ушами – явно не по форме. Дубленый командирский полушубок порыжел и местами вытерся, не то, что у наших штабистов. На ногах валенки-чесанки домашней работы, уже порядком изношенные. В общем, боевой командир, выдавший виды... Шлепкова мне все-таки жаль: он принимал меня в полк.

– Военный переводчик второго разряда... пока не аттестован, – говорит начштаба.

Я делаю шаг вперед и прикладываю руку к шапке.

– Добре, – произносит Симоненко, задерживая на мне взгляд. – Все?

– Из командиров все.

– А адъютант у меня есть?

– Адъютант убит на прошлой неделе, – чуть померкнув, докладывает начштаба.

– Ага... Так вот я пока беру его к себе, – говорит Симоненко, указывая на меня. – Будешь по совместительству переводчиком и адъютантом у меня с комиссаром.

- Есть, – отвечаю я не очень весело... Не переоценивает ли он моих способностей?
- Ваше помещение рядом, – говорит начштаба. – Телефон подтягивают.
- Добре. Пошли.

Подхватив свой карабин, я направляюсь за Симоненко и начальником штаба. Малинин подмигивает мне.

На улице уже тихо. Лениво падает редкий серый снежок. У дома, к которому мы подходим, стоит пустая запряженная кошевка – это бывшая кошевка Шлепкова...

В доме тепло. На самом видном месте – кровать, застланная синим ватным одеялом. У печи старушка в черном платке. За столом гладко причесанный голубоглазый человек с матерчатой шпалой на петлицах. Он кивает командиру как старому знакомому и, поднявшись, протягивает руку начальнику штаба.

- Старший политрук Худяков.
- Наш комиссар, – говорит Симоненко.

Я старательно отдаю честь новому комиссару полка.

Скинув полушубок, Симоненко немедленно садится за карту. Худяков достает из планшетки свою. Начальник штаба докладывает обстановку, затем сверяет свои часы с часами командира и просит разрешения уйти.

Я выхожу вместе с ним в сени. Спрашиваю, каковы мои новые обязанности. Румяный лейтенант дружески хлопает меня по плечу.

– Везучий ты, черт... Только больше не говори «пожалуйста», в армии это не принято. А по существу так: неотступно следуешь за командиром или комиссаром, отвечаешь за их безопасность, выполняешь все поручения и, конечно, заботишься о быте.

На моем лице, вероятно, появляется кислая мина, потому что лейтенант ободряюще добавляет:

– Ну, не все сам, понятно. На то есть повар, ездвые. Тебе надо только распорядиться... Словом, живи!

Хлопнув меня еще раз, он уходит. Я остаюсь в холодных сенях...

Распорядиться мне еще никогда не приходилось. Но делать нечего – отправляюсь знакомиться со своими подчиненными: двумя пожилыми ездвыми и толстощекимым поваром, который уже хлопчет вместе с хозяйкой-старушкой у печи.

Через час мы обедаем – командир, комиссар и с какой-то стати я с ними. В пять вечера начинаем проверку постов. Наши бойцы окопались вдоль извилистой речки, отрыли в снегу траншеи и небольшими группами скрыто ходят обогреваться в сараи. Пушки и минометы замаскированы в палисадниках на окраине деревни. Наша задача – пока держать этот рубеж.

В девятом часу возвращаемся к себе. Ездвые как-то догадались истопить баню. Она черная, полуразвалившаяся, но такая жаркая, что даже дышать горячо.

За ужином Симоненко выпивает стакан водки. Худяков от выпивки отказывается – он собирает в штабе полка политработников из батальонов – и вскоре уходит. Симоненко, сбросив валенки, ложится на кровать.

Почти мирная жизнь!

– Не хватает только жинки, – насмешливо говорит Симоненко.

Он вынимает из нагрудного кармана кружевной платочек, письма и фотокарточку женщины; на одеяло вываливается тяжелый серебряный орден Красного Знамени.

Это меня сразу мирит с Симоненко.

– Ваш?

– Нет, взял напрокат.

– А почему не носите?

– Вот как раз сейчас и нацеплю... Щоб адъютант уважал.

Удивительно! Мне раньше казалось, что все герои должны чем-то походить на Рахметова; уж, во всяком случае, не таскать при себе дамских платочков и не пить за ужином водки.

3

Наше относительное благополучие кончается, как и все на войне, внезапно. Одним светлым морозным утром, когда по заданию комиссара я корпел в штабе над переводом дневника убитого обер-лейтенанта, немцы неожиданным ударом опрокидывают нашу оборону и выбивают нас из деревни – почти таким же манером, каким они дважды выбивали нас при Шлепкове... Я бегу в рядах отступающих бойцов и мучаюсь мыслью: как же так, ведь Симоненко не новичок, о войне он знает не понаслышке; а может, командир полка и не виноват, что мы опять бежим, может, виноватых надо искать где-то выше?..

До нового места добираюсь с опозданием и за это получаю нагоняй от Симоненко. Окажется, я должен был задержать любую повозку и нестись вслед за ним – сам он ускакал на коне. Я был нужен.

Симоненко зол, мечется от окна к окну. Комиссар Худяков, хмурясь, сидит в углу под образами. Начальник штаба стоит у стола, как провинившийся школьник.

– Соедините меня со штадивом.

– Связи еще нет, товарищ комполка, – чуть слышно говорит лейтенант.

– Так это же не война, а хреновина одна! – кричит весь красный Симоненко. – Каждый день этот букет... вонючего запаха!

– Кушать будете? – выглядывая из-за печи, спрашивает повар.

– Пошел... – кричит Симоненко. – Водка есть?

– Водки не надо, – негромко, но твердо говорит Худяков.

Симоненко стихает и садится к столу. Начальник штаба докладывает о потерях. Симоненко опять вскакивает на ноги, застегивает полушубок и решительно объявляет:

– Еду к хозяину.

Хозяином он называет командира дивизии, того грузного подполковника с одутловатым лицом, по заданию которого он так лихо контратаковал немцев в новогоднее утро.

Я молча беру карабин.

– Оставайся с комиссаром, – приказывает Симоненко.

Он возвращается к вечеру в отличном расположении духа. По его распоряжению я вызываю командиров батальонов, командиров спецподразделений, штабное начальство, приглашаю оперуполномоченного Милютину. Симоненко проводит совещание. Насколько я могу уразуметь, нам предстоит переброска на другой участок фронта и большие наступательные бои.

Немедленно после этого совещания Худяков вызывает в штаб полка политработников. Спокойным тоном, как хороший учитель, он говорит, что надо усилить политико-воспитательную работу, так как наши отдельные неудачи деморализующе подействовали на бойцов, а нас ожидают новые серьезные испытания.

Пока я сижу с Худяковым в штабе, Симоненко успевает подзаправиться. Подзаправиться в буквальном смысле: от него за несколько шагов несет бензином, точнее, немецкой горючей смесью спирта и бензина.

Симоненко вновь весел, шутит, в его глазах снова чертики.

– Отойди, адъютант, взорвусь, – предупреждает он, вставляя в рот немецкую сигарету и поднося к ней огонек зажигалки, тоже немецкой.

Худяков укоризненно качает головой.

– Опять дань разведчиков?

– Ясно... Адъютант же у нас спит, – с усмешкой отвечает Симоненко.

Это камешек в мой огород. Днем я отказался от поездки в тыл с нашим начпродом Рогачом, симпатичным парнем с подбритыми бровями, который обещал снабдить меня «горилкой» и военторговскими папиросами для командования. Я, возможно, и поехал бы, да побоялся новых нареканий Симоненко, что меня нет под руками в нужный момент...

Выступление батальонов назначено на 21.00. Штаб полка должен сняться с места через час после их ухода. Без четверти девять Симоненко посылает меня узнать, готовы ли подразделения к маршу.

Выхожу из избы. В воздухе морозный туман. На улице обычная суতোлка построения. Покрикивают простуженными голосами командиры.

Подражая Симоненко, я тоже кричу:

– Комбат-один!

Меня подозрительно оглядывают в темноте.

– Комбат-один! – повторяю я громче.

– Я... В чем дело? – отзывается в хвосте строящейся колонны низкий голос.

– Готовы ли люди к маршу? – строго спрашиваю я, подходя.

– Так точно, – отвечает комбат, силясь разглядеть меня в тумане.

Я шагаю дальше и снова кричу:

– Комбат-два... Готовы ли к маршу?

– Готов! – весело отвечает звонкий голос. Иду дальше и снова уверенно спрашиваю:

– Комбат-три! Готов ли?

– Это еще кто такой? – раздается рядом хриплый медлительный голос высокого, затянутого в портупею человека.

– Адъютант командира полка... Вы комбат-три?..

– Знаешь, что, адъютант... Катись-ка ты к дьяволу, – раздраженно говорит высокий.

– Готов ли ваш батальон к маршу? – потише, но столь же строго спрашиваю я.

Откровенно, я просто побаиваюсь, что, спрашивая я нормальным человеческим тоном, меня не захотят слушать.

– Готов, готов... Да научитесь обращаться по форме, – отходя, желчно произносит командир третьего батальона.

Возвращаюсь в дом и докладываю, что все готовы.

– Добре, – отвечает Симоненко.

Он и Худяков пьют чай. Минут через двадцать снова выхожу узнать, выступил ли последний батальон. На улице все тот же туман и суতোлка построения.

Не решаясь больше тревожить желчного комбата-три, я обращаюсь к одному из бойцов:

– Вы третьего батальона?

– Кажись, третьего.

Колонна и в ней боец, ответивший мне, трогаются.

Прихожу и сообщаю Симоненко, что третий батальон выступает.

Через полчаса Симоненко сам выходит наружу. Возвращается разъяренный.

– Адъютант!

– Я!

– Ты что арапа заправляешь? Третий батальон еще стоит!

– Мне сказал боец...

– А бойцов о таких вещах не спрашивают. Ничего не понимаешь!

«Ничего, – с горечью соглашаюсь я про себя. – Ничего не понимаю, ничего толком не умею».

Отчитав меня, Симоненко достает карту и приказывает вызвать начальника штаба. Я прошу телефониста соединить меня с «третьим».

Наконец батальоны уходят. Выезжает штаб. Ездовой выносит чемоданы командира и комиссара и укладывает на повозку. Рядом водружает свои мешки наш повар.

Туман рассеивается.

Над головой ярко блестит молодой месяц. Кошевка с командиром и комиссаром, повизгивая полозьями, уносится вслед за батальонами.

Я, провинившийся («ничего не умею»), сижу на хозяйственной повозке, которая плетется со штабным обозом. Шествие замыкает комендантский взвод.

4

Под утро мы добираемся до пункта назначения. Это большая деревня, запруженная тайно сосредоточенными здесь нашими войсками. Днем в деревне абсолютная тишина. Пушки, автомашины, повозки – все укрыто под навесами и замаскировано.

Люди сидят в избах, сараях, банях. Ходить по улицам запрещено.

Деревня кажется вымершей.

Между тем в нашем штабе небывалое оживление. Симоненко опять собирает всех командиров: совещается, приказывает, торопит. Командиры батальонов уточняют на карте линию рубежа, который им надо занять, согласовывают взаимодействие.

Малинин возится с только что полученными новыми телефонными аппаратами. Писаря вдохновенно пишут.

Когда темнеет, Симоненко вместе с представителями штадива отправляется на рекогносцировку; меня он с собой снова не берет.

Худяков, весь день пропадавший в подразделениях, прикрывает дверь на штабную половину и просит меня сесть.

– Знаешь, – говорит он негромко, – завтра мы должны взять город Сычевку, будет большой бой... Давай договоримся: тебя ранят – я тебя вынесу, если меня, – не оставляй.

Мне даже капельку обидно. Я отвечаю, что это мой прямой долг.

– Долг долгом, – говорит Худяков, – но не мешает и так, просто по-человечески.

Он показывает через окно на утонувшую в снегу скособоченную хибарку.

– Сбегай туда. Командир разведчиков даст тебе автомат, он мне обещал.

Когда выхожу в мглистые сумерки, в разных концах деревни раздаются гулкие звуки как бы откупориваемых бутылок: это стреляют наши орудия. Очевидно, ведется перестрелка. Там, где глухо погромыхивают разрывы, – чернота.

«Интересно, каков будет этот большой бой?» – думаю я. Мне еще не доводилось участвовать в большом бою, в таком, чтобы были наши танки, самолеты, кавалерийские атаки, то есть чтобы все было так, как полагается...

А разве может быть для человека «маленький» бой, просто для человека, бойца или командира, если во время такого боя могут убить?..

От разведчиков возвращаюсь с трофейным немецким автоматом.

Худяков бегло осматривает его и вручает мне в обмен на мой карабин, которым он решает вооружиться на завтра.

– А теперь спать... до четырех утра, – приказывает он.

Симоненко остается на ночь в первом батальоне.

Ровно в четыре комиссара будит повар. Мы вместе с начальником штаба завтракаем, лейтенант остается пока в штабе, а мы с Худяковым уходим в морозную темь.

Кругом тихо и безмолвно, по сути, еще ночь. Миновав деревню, мы останавливаемся возле полуразваленного домика.

Тут комиссара встречает политрук роты, оповещенный, видимо, с вечера. Нас заводят в темное помещение, переполненное спящими бойцами, усаживают на какой-то ящик.

Дремлем, мучаемся. Худяков шепотом говорит, что, когда возьмем Сычевку, станет легче: соединимся с войсками Западного фронта, там положение стабильнее. Надо лишь постараться.

Вообще ведь надо воевать, как и жить, с полной отдачей сил, только тогда можно добиться успеха...

Он почему-то все больше напоминает мне школьного учителя.

Но вот сквозь пробоины в потолке сочится рассвет. Мы с Худяковым надеваем белые маскхалаты и направляемся к исходному рубежу нашего второго батальона...

Очень морозно, стоит туман. Он закрывает от наших глаз город и мешает идти. Продвигаемся по истоптанному хрусткому снегу почти на ощупь, пока на востоке молочная пелена не окрашивается в розовый цвет.

– Так не забудь, о чем условились, – говорит Худяков.

Ускоряем шаг. На нашем пути все чаще попадаются индивидуальные окопы.

Туман исподволь редет. Мы видим впереди серую линию наших бойцов.

Худяков занимает снежный окопчик и зовет меня к себе: вдвоем не так холодно... Снег на кромке окопа начинает искриться. Худяков все чаще поглядывает на часы. Его голубые глаза сужаются: позади нас вдруг звучат четкие в стылом воздухе удары.

Удары – и тотчас впереди мощные звонкие разрывы. Удары и разрывы – целая серия звонких громовых разрывов.

– Артподготовка, двадцать минут, – сухими губами произносит Худяков. – Сейчас...

Слышится шум залпа гвардейских минометов, будто строчит гигантская швейная машина. Я выглядываю из окопчика.

Впереди, метрах в семидесяти, за невысокой снежной грядкой неподвижно лежат бойцы. Вокруг – огромное искристое поле. А в конце его – прямо перед нами – залепленные морозным снегом крыши Сычевки, церковная ограда, зеленая маковка колокольни, и там, подымая белые сверкающие фонтаны, рвутся наши снаряды.

– Сейчас... – повторяет сухими синими губами Худяков, сводя с предохранителя курок карабина.

Гляжу на Худякова, потом опять вперед. Сверкает еще несколько разрывов возле колокольни. Бойцы у снежной грядки вдруг шевелятся, вскакивает фигурка в белом и что-то выкрикивает.

– Начали! – хрипло и твердо говорит Худяков.

5

На всем громадном искристом поле поднимаются серые цепи наших бойцов. Они бегут с белыми заиндеветшими винтовками по склону. Крики «Ура!» тонут в грохоте артиллерии, которая продолжает молотить вражеские позиции. Мы с Худяковым быстро шагаем вслед за атакующими. Церковная ограда приближается – становятся видны старая кирпичная кладка и комья снега поверх стены. Перед ней, внизу, – нетронутая полоса скованной льдом речки.

Передовая цепь достигает пологого берега, и в это время кирпичная ограда в мгновение ока обрастает острыми дрожащими дымками. В то же мгновение я вижу, что первый ряд атакующих подпрыгивает и падает, как срезанная косой трава...

Набегают вторая волна бойцов и снова, будто наткнувшись на невидимое разящее лезвие, падает в снег. Бегут новые бойцы и опять падают. Худяков и я, не доходя до речки, ложимся, окапываемся и начинаем стрелять. Стреляют из винтовок и автоматов – слева, справа и впереди – бойцы и командиры наших прижатых к земле подразделений.

Поместив автомат на бугорок, я посылаю короткие очереди в сторону дрожащих дымков. По временам немецкие пули роют снег у самого носа. Особого страха пока нет, чувствую себя

только словно раздетым и очень большим. Часто поглядываю на Худякова: не ранен ли; он тщательно прицеливается... Что же будет дальше?

На берегу у самой кромки льда вдруг снова вскакивает фигурка в белом, прыгает вправо, потом влево, потом кидается вперед – по-моему, это сам комбат-два. Десятка полтора людей бросаются за ним. В воздух вздымаются и летят, описывая дугу, темные предметы – соображаю, гранаты, – раздаются резкие хлопки, и они как сигнал для нашего нового броска. Поднимаются и бегут к ограде поредевшие цепи бойцов, мы с Худяковым, перепрыгивая через убитых, тоже устремляемся вперед, и опять, как проклятье, перед нами вырастает незримая стальная коса. Мы тыкаемся в снег, затем отползаем под прикрытие низкого берега.

Наша первая атака, выражаясь военным языком, захлебнулась – это нам ясно. Если не подавить спрятанные в стене немецкие пулеметы, то они перебьют всех нас до единого. Это понятно и тем, кто наблюдает за боем в бинокли с командных пунктов: очевидно, следует приказ, и разрывы нашей артиллерии круто перемещаются к ограде. Делается даже жутковато: так близко начинают рваться наши снаряды.

Худяков, глубоко врезаясь плечом в снег, беспокойно взглядывает на небо. Его малиново-красное лицо в испарине... В небо из-за городских крыш со свистом и громом вырываются «юнкеры», проносятся над нами и уходят к деревне, где стоят наши батареи. В ту же минуту за спиной протяжно и мощно ухают бомбовые удары.

– Истребители, истребители где? – быстро и беззвучно говорит Худяков. – Вот в чем дело... истребители!

«А танки? – думаю я. – А кавалерия?»

Разрывы за церковной оградой исчезают. На какую-то долю секунды, кажется, даже, настает тишина. Эта тишина немедленно наполняется стуком немецких тяжелых пулеметов. С нашей стороны, из цепи, зарытой в снег, опять летят гранаты, но они падают и рвутся, не достигая цели. Немцы отвечают новым, еще более плотным шквалом огня, теперь они расстреливают нас в упор – наши не выдерживают и начинают пятиться.

Отползаем и мы с Худяковым. Нескладно получается. Но, может, лучше пока отойти на исходный рубеж? Может быть, наши пушки снова заговорят и уничтожат наконец фашистские пулеметы?

Вот уже окопчик, где мы лежали с Худяковым. Я узнаю его по широкой вмятине на снежном бруствере. Мы опять забираемся в него. Бойцы перебежками приближаются к нам. Прямо по снегу тащат раненых – окровавленных и полузамерзших.

Худяков тревожно следит за перебегающими. Они отступают все дальше. Лишь немногие задерживаются там, откуда поднялись в атаку. Какой-то приземистый командир, матерно ругаясь и размахивая наганом, пытается положить бойцов. Слева от нас перебегает в тыл целая группа.

– Останови их, – приказывает мне Худяков и сам быстро вылезает из окопа. Выпрямившись во весь рост, он направляется к другой группе справа, которая отходит от снежной грядки начального рубежа.

Я кидаясь к группе слева. Взяв автомат в правую руку и вытянув в сторону левую, кричу:

– Товарищи красноармейцы, ни шагу назад!.. Занимай оборону! Товарищи красноармейцы!

После хриплой матерной ругани приземистого это «товарищи красноармейцы» действует... Бойцы вдруг поворачивают и, пригибаясь, бегут к снежной грядке.

Я иду за ними, а справа, метрах в пятидесяти, шагает во весь рост в центре большой группы Худяков.

Пули звонко сеют и лопаются, но сейчас они нисколько не пугают меня: так хорошо на душе! Однако едва мы залегает в просторном окопе, как случается нечто новое и непредвиденное.

Сперва поблизости начинают остро и часто рваться мины, потом в городе металлически четко ударяют выстрелы немецких пушек, и над нами вырастают белые облачка, которые распадаются на черные и желтые клочья.

Дождь осколков и пуль сыплется на наши головы. В голос вскрикивают раненые, мычат умирающие.

– Шрапнель! – орет кто-то дико.

В довершение всего над нами показываются разгрузившиеся «юнкеры». Они начинают поливать нас пулеметным огнем.

С таким трудом созданная линия обороны рушится – все бегут, согнувшись, по полю.

Я снова неотступно следую за Худяковым. Он идет, сторбившись, кусая губы. Когда над нами воет «юнкере», мы падаем в снег и переживаем очередную волну пуль; в нас не так-то легко попасть: выручают маскхалаты.

На минуту мы ложимся в снежный окоп перевести дух. Появляется чувство апатии. Опять идем, опять падаем при приближении рева моторов и опять метров через триста останавливаемся передохнуть в окопчике, я – в одном, Худяков – рядом в другом.

...Я смотрю на небо. Морозная синева испещрена черно-желтыми клочьями и пересекается время от времени рокошущими серебристыми «юнкерами» – они похожи на огромных крылатых рыб. Я вынимаю из кармана кусок сахара и кладу в рот. Хочется закрыть глаза и не открывать... «Поражение, – думаю я. – Но почему? Почему?»

Я смыкаю «на секунду веки – всего на секунду, как мне кажется. И вдруг вижу над собой лицо Худякова – огромное, испуганное, с расширенными зрачками.

– Ты ранен?

– Нет. – Я поднимаюсь.

– Быстро, бежим! – кричит он. Я оборачиваюсь.

По всему полю с лязгом и грохотом ползут на нас какие-то чудовища.

– Танки... Быстро! – кричит Худяков. – Я был уже далеко... вернулся... думал, ты ранен...

Впереди в беспорядке движутся последние группы отступающих.

Мы в самом конце. Сердце заходится при мысли, что если бы не комиссар, то со мной все было бы кончено...

Возле деревни нам с Худяковым удается вскочить на дровни. Пегая лошадь мчит нас по горящей дымной улице.

Сбоку по дороге бегут бойцы, бегут командиры, плетутся за подводами раненые...

Беспощадно светит морозное январское солнце, и от его холодного блеска слезами застилает глаза.

Глава третья

1

И еще один бой. 5 февраля 1942 года нам приказывают выбить немцев из деревни Н., чтобы расширить коридор, по которому идет снабжение наших войск, действующих юго-западнее Ржева... Грохочет артподготовка, в черное небо врезается красная ракета.

Это сигнал к атаке. Начинается пальба из винтовок, автоматов и пулеметов – стоит сплошной гул и треск. На горизонте, там, где чернеет деревня, вспыхивает зарево пожара.

Пальба продолжается с четверть часа, затем все замирает. Потом опять разгорается с новой силой – слышен басовый стук крупнокалиберного немецкого пулемета – и вновь обрывается. Затем следует самая ожесточенная волна выстрелов, и снова минут через десять тишина.

Симоненко и Худяков нервно топчутся на краю оврага. У обрыва в кустах оборудован узел связи – там хлопочет Малинин. Откуда-то появляется Милютин, он встревоженно что-то говорит Симоненко.

– Да. Давайте, – отвечает тот.

Милютин собирает почти всех штабистов, подзывает меня и ведет нас в темное поле. Он объявляет, что мы командирское заграждение; наша задача – проверять тех, кто отходит в тыл. Он расставляет нас цепью с интервалами метров в сто и поворачивает в сторону горящей деревни.

Деревня пылает. Языки пламени лижут черное небо. Гремит перестрелка, но наши, видимо, больше не решаются атаковать: слишком плотен огонь немцев. Ночь темная, теплая и кажется совсем черной, когда переводишь взгляд с горящих домов на поле.

В этой черноте я вскоре различаю две ковыляющие фигуры. Направляюсь к ним. Два пожилых красноармейца, опираясь на винтовки и прихрамывая, бредут к оврагу.

– Ранены? – спрашиваю я.

– Ранены, – говорят они.

– Держитесь левее, там перевязочный пункт.

У деревни опять завязывается перестрелка, звонко хлопают разрывы гранат, и вновь, покрывая все звуки, победно стучит тяжелый пулемет.

Из черноты выступает группа. Двое ведут, почти тащат под руки низкорослого бойца. Еще двое поддерживают тех, кто тащит.

– Все ранены? – спрашиваю я.

– Ранены, ранены, – торопливо отвечают мне.

– Минуту... Вы куда ранены? – обращаюсь я к одному из тех, кто поддерживает.

– Куда ранен?... Я никуда, это товарищ ранен.

– Его доведут двое. Возвращайтесь. Вы тоже, – говорю я второму поддерживающему.

– Как возвращайтесь? Зачем возвращайтесь? – горячо возражают мне. – Товарищ ранен, наш товарищ.

– Возвращайтесь немедленно! – прикрикиваю я на двоих.

– Ай, нехорошо, нехороший человек, – стыдят меня те двое, пятятся и уходят обратно к деревне...

Очень неприятно... Наверно, деморализованы нашим недавним поражением под Сычевкой, объясняю я себе. Или просто несознательные.

Минут пятнадцать спустя в темноте показывается длинная фигура с винтовкой за плечом.

– Ранен?

Фигура начинает хромать.

– Куда ранен? – спрашиваю я, приблизившись. На меня смотрит здоровая молодая физиономия с коричневатыми впадинами глаз.

– В ногу ранен. – Голос тоже молодой и здоровый. Парень старше меня, вероятно, года на три.

– А ну, покажи! – требую я.

– Отойди, – глуховато произносит он. – Тебе легко тут... Ты бы там попробовал.

Он задевает за живое.

– Пробовал. А ну, кругом... Марш!

Парень безмолвно поворачивается и идет к деревне. Я – за ним...

«Чертовщина, – думаю я. – Трус он, и все. Не может справиться с низменным инстинктом самосохранения... А я?»

Зарево пожара все ближе. Когда обрушиваются крыши, столб искр бежит к небу. Перестрелка не прекращается. Пули дзинькают и словно лопаются в воздухе.

– Разрывными, гад, бьет, – замечает парень.

Я молчу. Сейчас мне очень важно убедиться, что я сильнее своих инстинктов.

– Закурить не будет? – не оборачиваясь, спрашивает он. – А то я почти пришел.

– Не курю.

Над нами проносится пулеметная очередь, парень падает, потом бросается к снежному окопу, где посверкивают винтовочные выстрелы. Я кидаюсь ничком, отползаю к груде торчащих из снега обугленных бревен.

Отсюда, кажется, рукой можно достать до крайнего ряда горящих изб. Ловлю себя, что мне хочется побыстрее в темное поле, на свой пост, и вижу в освещенном пространстве между двумя объятами огнем домами мелькающие тени. Почти машинально вскидываю автомат и строчу. Рядом из окопов тоже стреляют, и вдруг все заглушается низким громовым стуком крупнокалиберного пулемета. Всплывает мертвенно-голубое сияние ракеты – я вжимаюсь в снег. С двух сторон бьют немецкие автоматы. Ракета наконец гаснет, я привстаю, и в этот момент что-то точно палкой ударяет меня по левой руке.

Я щупаю повыше локтя – пронзает острая боль. Что-то теплое стекает в перчатку. Понимаю, что ранен, беру автомат на шею, правой рукой поддерживаю левую и, согнувшись, бегу в темноту.

На минуту охватывает страх. Что я скажу Симоненко? Как оправдаюсь перед ним и комиссаром? Пули посвистывают и будто лопаются, но я уже знаю: эти мимо... Если бы мне пришлось объясняться только с Худяковым!

2

На мое счастье, у спуска в овраг я наталкиваюсь как раз на Худякова. Он сразу замечает, что я ранен.

– Сильно?.. Куда?..

Сняв с моей шеи автомат, Худяков вынимает из полевой сумки перевязочный пакет и туго перетягивает простреленную руку поверх шинели. Потом молча идет со мной в конец оврага, где стоят наши лошади.

– На перевязочный, – приказывает он ездовому. – Если нужно, в санбат.

– Спасибо, – говорю я каким-то не своим голосом. Мне больно.

– Подожди. – Худяков шуршит карандашом в блокноте и выдирает листок. – Это отдашь комиссару медсанбата. Поправляйся.

Кошевка выбирается из оврага и мчится к лесу. Позади остается догорающая деревня, шум боя.

На перевязочном пункте в лесной сторожке рану промывают, перевязывают. Пуля пробила мягкие ткани плеча и поцарапала кость. Поскольку кость все-таки задета, ранение считается серьезным.

Свободных подвод на пункте нет, все в разгоне. Боль донимает, и я прошу своего ездового взять меня в медсанбат.

Через час мы на месте. Уже рассвело. Падает мягкий чистый снежок, и деревенька, куда мы попадаем, кажется очень мирной, очень далекой от войны. Кругом так тихо, что делается немного не по себе и будто чего-то не хватает.

Мы высаживаем у околицы двух попутчиков, подъезжаем к дому, где принимают раненых командиров, я отпускаю ездового.

Худой, с воспаленными глазами и землистого цвета лицом человек вертит в руках бумажку, написанную в темноте Худяковым.

– Вы кто по званию? – спрашивает он.

– Военный переводчик второго разряда.

– Это такое звание? Первый раз слышу... А должность?

– Тоже переводчик и по совместительству адъютант командира полка.

– Ничего не понимаю... Вы средний командир?

– По-видимому, да.

– Гм... По-видимому. Ну, хорошо. Отправляйтесь в палату начсостава, третий дом справа... По-видимому!

Несколько растерянный, ухожу. Откуда я знаю, какой я командир и какая разница между званием и должностью? Я думал, что это приблизительно одно и то же – пост, звание, должность...

В тихом, чистеньком домике мне отводят место на полу у окна. Я осторожно снимаю шинель, меховую безрукавку, валенки, раздеваюсь до нижнего белья и, несмотря на ноющую боль в руке, тотчас засыпаю.

Просыпаюсь от громких голосов и усилившейся боли.

– Обедать-то по крайней мере будете? – говорит приятный, бархатистый голос.

Поворачиваю голову. Облокотившись на подушку, на меня смотрит сосед, молодой мужчина.

– Вы меня? – говорю я.

– Вас.

– А что, уже обед?

Гляжу на часы. На ремешке засохшая кровь. Стрелки показывают пять минут первого. Прикладываю к уху – тикают. Здоров я спать!

Мне приносят полкотелка жидкого горохового супа и сухарь. На второе – полкрышки сухой пшенной каши. Поковырявшись в каше, возвращаю все санитару.

Сосед насмешливо-сочувственно следит за мной.

– Appetita нет?

– Не проголодался, да и рука болит.

– Ничего, полежите здесь с недельку, аппетит появится. Еще какой аппетит! Познакомимся?.. Воентехник Иванов.

Пожимаем друг другу руки. Иванов здесь уже третью неделю. Осколок мины ранил его в бедро, когда он был в командировке на передовой. Да, да, в командировке, нечего удивляться: постоянно он работает в оружейных мастерских дивизии, это довольно глубокий тыл, во всяком случае, снаряды не долетают.

– Как же вам так не повезло? – спрашиваю я.

– Да вот так. Вообще не везет... Должны были эвакуировать в госпиталь, но на самолетах всех не эвакуируешь, берут лишь самых тяжелых. – Иванов супит темные брови.

– А разве эвакуируют на самолетах?

– Конечно. Другие же пути сейчас отрезаны... Так я узнаю страшную новость. Оказывается, мы окружены. Тот узкий коридор, который соединяет нас с главными силами Калининского фронта, насквозь простреливается немцами... Поразительно, что в тылу об этом известно, а мы даже в штабе полка в неведении.

Оглядываю палату. Обычная крестьянская изба, только пустая: вынесено вон все, вплоть до лавок. Раненые лежат на полу. Кое-кто тихо стонет.

– Невеселая картина, – говорю я.

– Да, невеселая, – отвечает Иванов.

3

Через час меня вызывают к хирургу. Вместе с молодым голубоглазым лейтенантом я иду к дому с мезонином. Возле него на расчищенной дорожке следы санных полозьев и конский помет.

– Этой ночью привезли много тяжелых, я не спал, – говорит лейтенант. – А тебя тоже сегодня?

– Под утро.

– Лупят нашего брата, – вздыхает лейтенант. – Техника у них, подлецов, богатая, я насмотрелся на их технику.

– Где?

Он перчаткой смахивает с валенок снег и поднимается на крыльцо.

– По долгу службы... Получше обмети валенки, а то Наджарова выставит за дверь.

В передней, скинув шинели, мы садимся на скамью. Впереди нас трое. За перегородкой слышатся женские голоса: один – уверенный, строгий, другой – высокий, потише. Им отвечает скрипучий бас. Пахнет, как во всякой амбулатории, йодом, спиртом и еще чем-то, может быть, человеческой болью.

Из-за перегородки, в двери, занавешенной простыней, появляется рослый капитан, за ним – девушка в белом халате. У нее мальчишески широкое, миловидное лицо с большими серыми глазами.

– Есть вновь поступившие? Я поднимаюсь.

– Проходите. – Девушка пропускает меня вперед, придерживая край простыни на двери.

В прохладной комнате около окна стоит высокая, статная, совершенно седая женщина в белом и потирает ладонь о ладонь. Догадываюсь, что это и есть знаменитый в нашей дивизии хирург Наджарова.

– Снимайте гимнастерку и садитесь, – приказывает девушка.

Стаскиваю одной рукой гимнастерку и нижнюю рубаху – другая рука перемотана и привязана к шее – и сажусь на табурет. Девушка ловкими кругообразными движениями освобождает меня от бинтов. Наджарова подходит ближе.

– Как вы попали на фронт? Вы же совсем мальчик, – неожиданно ласково говорит она мне.

Пожалуй, это она зря: мальчика уже давно нет.

Мне, конечно, безразлично, как отнесется к такому определению девушка, но все-таки неприятно... Отвечаю, что пошел сам.

Девушка быстро и безжалостно отдирает прилипшую к ране марлевую накладку.

– Наверное, после десятилетки? – Наджарова осматривает, затем ощупывает руку. – Нина у нас тоже добровольцем пошла на фронт, она у нас молодец, смелая и школу окончила отличницей.

Попросив ее подать какой-то инструмент, Наджарова снова обращается ко мне:

– Вы тоже уралец?

– Нет, я вологжанин.

– И уже успели стать командиром?

Она просовывает в рану что-то длинное, твердое – это причиняет нестерпимую боль... «Настоящий палач», – думаю я про нее.

– Я не командир, я переводчик... – Пытаюсь терпеть, но голос выдает меня. – И по совместительству адъютант... – Чувствую, что от боли глаза лезут на лоб. – А до этого был... артиллерийским разведчиком...

Нина подносит к моему носу склянку с нашатырем.

– Ну, разведчики молодцы, умеют терпеть, – спокойно произносит Наджарова. – У нас здесь есть один... Нинина симпатия.

– Неправда, – говорит Нина. Я готов заорать от боли.

– Вот и все, – объявляет Наджарова. – Все, что надо, вынули, почистили, теперь будете поправляться... А ты не криви душой, – прибавляет она сурово, полуобернувшись к Нине.

Она идет к умывальнику. Нина делает мне перевязку. Я сижу обессиленный и обмякший, как вытряхнутый мешок.

– Следующего, – говорит Наджарова.

Сейчас я замечаю под ее глазами густую синеву. Я прощаюсь.

– Придете послезавтра, – говорит мне Нина. – Не забудьте.

И вызывает следующего.

4

Мой сосед Иванов, лежа на левом боку, читает «Анну Каренину». Книга потрепана, выпадают листки, но обложка аккуратно обернута чистой бумагой.

– Хотите почитать? – Иванов взглядывает на меня поверх книги и лезет под подушку за расшитым кисетом.

Я не хочу: я дважды читал «Анну Каренину».

– Может, у вас есть что-нибудь еще?

– У меня нет, – говорит Иванов, – а вот если вы попросите Ниночку, – у нее много книг... Вы, конечно, обратили внимание на сестру из хирургического?

Он неумело скручивает сигарку.

– Только не вздумайте ухаживать за ней, предупреждаю по-дружески. Смотрите, а то наживете опасного врага... Наджарову, нашего хирурга, да вы ведь были у нее? Дело в том, что мать этой Ниночки, тоже врач и подруга Наджаровой, поручила ей свое чадо. Так что глядите в оба.

Я благодарю Иванова за совет и вытягиваюсь под одеялом. Думаю, какое мне дело до Ниночки, до того, кому ее поручили...

Идет война. Нас калечат и убивают, мы фактически в окружении. Неужели тут можно помышлять еще о каких-то ухаживаниях.

Иванов, опираясь на палку, отправляется курить.

Я открываю потрепанный том Толстого, читаю первые строчки, и на меня вдруг веет домом, детством, и больно сжимается сердце.

У нас в семье при жизни отца была своя библиотека. Помню, как, делая стеллажи, отец строгал на верстаке сухие доски, приколачивал к стене кронштейны и тюкнул себя по пальцу;

тараша глаза и размахивая ушибленной рукой, кричал: «Ах, лешак тебя побери!» – Я приснул со смеху и получил за это от мамы шлепка...

Я рано, еще до школы, выучился читать. Однажды сестра застала меня за «Евгением Онегиным».

– Ну, что ты понимаешь, цыганенок?

– Все понимаю, – пробурчал я.

Сестра отобрала книгу и сперва нахмурилась, а потом залилась веселым хохотом. На цветной картинке, изображающей сцену бала у Лариных, я гвоздиком расцарапал толстую, обтянутую до колена светлым чулком ногу Онегина и красным карандашом начертил кровь. Так я отомстил ему за Ленского.

В другой раз, почитав «Бахчисарайский фонтан», – книга была тоже с картинками, – я намотал на голову наподобие чалмы полотенце, вооружился кривым садовым ножом и как-то неожиданно для себя пропорол в нескольких местах пестрый домотканый ковер, которым прикрывалась дверь в нашу библиотеку.

Поскольку я тут же явился с повинной, наказания удалось избежать. Правда, с того дня отец сам стал подбирать мне книги для чтения.

Постукивая палкой, возвращается Иванов.

– Все же читаете?

– Да.

Под вечер у меня вновь сильно разбалывается рука. Тупая ломящая боль не перестает и весь следующий день. Ночью подсакивает температура, и, когда на другое утро надо идти к хирургу, я еле держусь на ногах.

Осмотрев припухшее плечо, седовласая Наджарова за что-то нещадно отчитывает Нину. Я не знаю, куда глаза деть, – словно это моя вина, что плечо распухло. Мне делают укол, заставляют проглотить красную таблетку и, опять наложив повязку, отправляют меня в палату в сопровождении санитаря.

В сумерки, когда почти все уже спят, я слышу шепот за перегородкой. Минуту спустя входит на цыпочках наш санитар, за ним... Нина. Санитар бесшумно направляется к моему месту.

Я сажусь, до пояса прикрывшись одеялом. Нина подходит. Санитар, выразительно вздохнув, так же, на цыпочках, удаляется.

– Как чувствуете себя? – У Нины довольно-таки расстроенный вид.

– Спасибо... Садитесь, пожалуйста.



– Как температура? – Она присаживается на краешек постели и берет холодными пальцами мою руку повыше кисти, нащупывает пульс, которого у меня, по-моему, нет.

Я стараюсь не дышать и не глядеть на нее. И все-таки вижу опущенные веки, сосредоточенно сомкнутый рот.

– Кажется, температура спала, – говорит Нина. – Но все равно вам надо лежать, на перевязку пока не ходите. Я приду к вам сама.

– От Наджаровой вам за это не нагорит?

– Глупости, – отвечает Нина. – Это все злые языки... На самом деле она очень добрая.

Теперь, в сгустившихся сумерках, я смелее гляжу в ее лицо: большие глаза, нежный овал подбородка...

– А потом вы опять на передовую? – Нина спрашивает об этом, уже поднявшись.

– Нет, я в штабе... Если вам не трудно, принесите мне завтра что-нибудь почитать, на свой выбор.

Она обещает.

5

Нина приходит утром. Температура у меня действительно спала, и она смеется, рассказывая всем, как вчера ей влетело от военврача второго ранга Наджаровой за то, что она, негодная сестра, забыла дать мне стрептоцид. Мне приятно, что раненые улыбаются, глядя на ее мальчишески округлое, с ямочками лицо.

Нина не забыла о моей просьбе. Я бережно кладу в изголовье завернутый в газету томик Джека Лондона.

Два следующих дня я провожу в палате: перевязку пока менять не надо, и мне велено лежать. Нина не показывается, я читаю и перечитываю рассказы и... злюсь на себя.

На третий день после обеда отправляюсь в хирургическую. Наджарова почему-то холодна со мной. Нина молчит.

– Доктор, можно мне теперь выходить на прогулку? – спрашиваю я Наджарову.

– Можете, можете, – отвечает она.

В передней я говорю Нине, что хотел бы вернуть ей книгу. Она вполголоса просит меня прийти в шесть вечера к бывшему клубу.

В палате я застаю Иванова за сбором вещей. Он упаковывает в чемодан белье, теплый свитер, носки, бритвенный прибор. Он настоял на выписке и сегодня же возвращается в свои мастерские. Мне жалко расставаться с ним: за неделю мы подружились. Иванов достает со дна чемодана пухлую книжечку.

– Тебе это нужнее.

Я смотрю на обложку: «Русско-немецкий и немецко-русский словарь» – мне он, правда, очень нужен.

– Рекомендуются как успокоительное и сдерживающее... Противопоказаний нет, – добавляет Иванов с улыбкой, и мы прощаемся.

До пяти вечера я учу по книжечке немецкие слова, потом начинаю одеваться. Санитару я объясняю, что теперь мне предписаны прогулки.

Уже темнеет. На заснеженной улице по одному, по два прохаживаются выздоравливающие. Некоторые с палочками и костылями. Разговаривают негромко, курят, по привычке пряча папиросы в рукаве...

Нина является с опозданием: с передовой привезли несколько раненых. Она еще не была дома, но это ничего, ей хочется подольше подышать воздухом. В сизоватых сумерках ее лицо кажется совсем белым, а глаза еще больше и таинственно поблескивают, слов но они вобрали в себя вечернее мерцание снега.

– Я принес вашу книгу... Вот, – говорю я.

– Спасибо.

– Я подумал, что вы злая искусительница и что лучше держаться от вас подальше. Поймет она мою шутку?

– Неплохо, – улыбается Нина. – А знаете, что подумала я о вас?.. Что вы страшно влюбчивый самоуверенный мальчишка, этакий начинающий донжуан, которому полезно преподать хороший урок.

Тоже неплохо для начала.

– Значит, в известном смысле, мы пара. Так? – Она смеется. На ум отчего-то приходит весеннее утро и лесной ручеек.

Мы медленно идем к окраине деревни.

– Интересно, что вы подумали обо мне, когда я назначила вам эту встречу? – спрашивает Нина.

Она рядом, и я четко вижу ее профиль: плавную линию лба и носа, припухлость губ, ямочку над подбородком.

Мне делается вдруг весело. Озорной дух встает во мне.

– Ничего.

– Почему?

Нина поворачивает ко мне лицо – мерцают снега.

– Потому что мы все-таки очень разные. Это звучит уже по-серьезному.

Разговаривая, мы незаметно для себя добираемся до конца улицы, минуем часовых у последней избы – они даже не окликают нас – и идем дальше по чистой снежной тропе.

Внезапно на меня нападает припадок красноречия – такое со мной случается. Глядя на притухающую полоску заката, я говорю, что мы люди одной судьбы, листики, отлетевшие от родимого дерева и брошенные в котел войны, солдаты, которые уже умеют умирать, но которые еще блуждают в поисках верной дороги к победе. Я несу еще какую-то торжественную чушь, понимаю это, но боюсь остановиться в потоке слов, потому что потом, знаю, я могу вообще потерять дар речи – такое со мной тоже случается. Нина, к моему удивлению, слушает меня очень внимательно.

– Я не заговорил вас? – наконец догадываюсь спросить.

– Нет, пожалуйста.

И тут я чувствую, что говорить мне больше нечего, поток иссяк. Я останавливаюсь и опускаю голову.

– Вы устали? – спрашивает она.

– Нет, это другое.

– Повернем обратно? Мы далеко зашли.

Новый прилив красноречия обуревает меня. Я говорю, что никогда не следует поворачивать обратно, что надо проделать свой путь до конца, что на этом пути – в любых человеческих свершениях, больших или малых, – невозможно зайти слишком далеко, пока цель не достигнута и сияет где-то в желанной дали, как огонек на ночной реке. Нина опять слушает, пытаюсь понять что-то свое... И опять на меня находит столбняк.

– Отчего вы остановились? – Я молчу, как дерево.

– Что вы? – В голосе Нины настороженность.

Я обнимаю здоровой рукой ее за шею – она не противится – и начинаю горячо целовать ее в щеки, в подбородок, в глаза. У меня легкое головокружение. Я ощущаю на своих губах соленый вкус слез.

– Почему? – шепчу я, проклиная себя в глубине души.

– Я думала, – отвечает она, – я думала, вы необыкновенный, а вы такой же, такой, как все... как остальные. Идемте, – решительно говорит она, отстраняясь от меня.

Так мне и надо. Жалкий петух, вообразивший себя орлом.

На обратном пути мы молчим. В смятении я забываю даже проститься с Ниной.

Глава четвертая

1

Ровно через неделю меня выписывают из медсанбата. Всю эту неделю я усиленно занимался немецким языком, много размышлял. Я пришел к выводу, что главная моя беда в том, что, помимо слабого знания военного дела, я еще плохо знаю людей, человека вообще, даже самого себя. Так, я был уверен, что владею своими инстинктами, а что получилось? Нина, и правда, преподала мне хороший урок, и я не забуду его... Чтобы стать настоящим человеком, достойным защитником Родины, думал я, надо научиться подавлять в себе животные инстинкты, в первую очередь страх перед смертью – и человек это может, человек ведь все может!.. Значит, изучать военное дело, постараться постигнуть внутренний мир человека-бойца, а через него, вероятно, многие сложности жизни на войне – вот моя задача. Я обязан сам восполнить то, чего недоставало в нашем воспитании мирного времени.

Кажется, я здорово повзрослел за эту неделю, повзрослел и поумнел... Нину видел лишь дважды, когда ходил на перевязку, но заговорить с ней не осмелился: меня мучил стыд.

И вот я и голубоглазый лейтенант, выписанный вместе со мной, шагаем по разъезженной февральской дороге к линии фронта. Светит невысокое солнце, морозец веселит кровь.

– Ничего, – рассуждает лейтенант. – Хоть техника у них и богатая, но совести ни черта нет. На войне это имеет исключительное значение, по себе знаю. Представь того же вора. Дай ему, какому-нибудь карманнику, по морде – никогда не ответит, а то и в штаны накладает. Замечал? Немцы, конечно, могут воевать, но механически, а так, чтобы по сознанию – здорово живешь! Ты, я слышал, доброволец?

– Да.

– У меня во взводе тоже был доброволец, учитель. Отвлек на себя огонь, нас выручил, а сам... все. Я бы памятник поставил ему.

Быстро летит за разговорами время. Мелькают телеграфные столбы с оборванными проводами. Проходят мимо безлюдные, полусасыпанные снегом и полусожженные деревни. Слепят глаза блестящие на солнце ледянистые пригорки, замерзшие ручьи, сверху белые молодые сосенки – моя давняя любовь...

Через два часа мы делаем привал. Стучимся в покосившуюся избенку у перекрестка дорог. Дверной засов отодвигает замшелый старичок.

– Здравствуй, дедушка. Можно часок передохнуть? – бодро спрашивает лейтенант.

– А что же? Заходите. Отчего не можно?

В избе черный, давно не мытый пол, темные стены, но тепло. Мы сбрасываем с плеч вещмешки, расстегиваем шинели и садимся на лавку к столу. Лейтенант вынимает кисет и угощает табачком старика, который, не снимая шубенки, усаживается напротив.

– Как живете тут, дедушка?

– А ничего жиём, не трогают, слава Богу, – охотно отвечает старичок, ловко ладя кривыми пальцами сигарку. – Не жалимся.

– Вы один живете? – спрашиваю я.

– Не один... постояльцы всегда есть, не дают пропасть: кто хлеба, кто чего иного. Так и жиём.

– А родные где?

– А родные, кто где. Сноха с малыши куировалась, сынок воюе. Старуха недавно померла... Но ничего, схоронили, ничего.

Лейтенант толкает меня коленом.

– Давай сообразим насчет закусить. И отец не откажется.

Старичок оживает, бросает шубенку на печь и принимается хлопотать вокруг заляпанного чем-то белым самовара. Сунув зажженные лучины в трубу, он тащит его в сени. Мы развязываем вещмешки и достаем сухой паек, выданный в медсанбате: четыре сухаря, кусок сахара, комочек комбижира и плитку концентрата горохового супа-пюре.

Через четверть часа мы дуем на кружки, грызем сухари. Старичок прячет в карман выделенную ему долю сахара, сухари делит на три равные части.

– Так и жиём, – твердит он.

2

Еще не успеваем распротиться с гостеприимным хозяином, как в дверь снова стучат. – Слава осподи, – бормочет старик, натягивая драный кожушок.

В избу вваливается плотный румяный человек с седеющим пучком усов под шишковатым носом, в белой чистой шубе, затянутой скрипучими ремнями.

– Здравствуй, дед... А вы кто, товарищи?

По виду он большой начальник, голос тоже уверенный. Мы подтягиваемся.

– Возвращаемся из медсанбата... Лейтенант Огурцов.

– Военный переводчик второго разряда. Человек устремляет на меня светлые глаза, приставляется и говорит:

– Постой... Ты казал переводчик? Який переводчик?

– Немецкого языка. Из штаба полка.

– От это дило. А я как раз шукаю переводчика... А ну, идем зо мной.

Я переглядываюсь с лейтенантом.

– Идем, идем, – повторяет плотный. – Я комиссар штаба дивизии Николаенко.

Лейтенант, прощаясь, встряхивает мне руку, потом просит у комиссара штаба разрешения идти и, козырнув, исчезает за дверью.

Николаенко и вслед я тоже выходим. Подле колодца стоит кошевка. Ездовой, курносый парень, поит из ведерка лошадь.

– Так ты переводчик? – рассматривая меня на ярком свете, вновь спрашивается Николаенко. – Скильки тоби рокив?

– Восемнадцатый.

– Гарный хлопец... Комсомолец?

Николаенко спрашивает, откуда я родом, как попал на фронт, и под конец решительно заявляет:

– Едем в штадив.

Резвая лошадка живо доставляет нас в большое село, раскинувшееся по обе стороны речки. Проходим мимо часового в просторную, без перегородок, с окнами в две стены комнату.

В углу за столом сидит человек в длинной шинели и пишет. У него аскетически худое, нервное лицо, чуть сощуренные глаза, вислые брови. На петлицах две «шпалы»: видимо, майор.

Приложив руку к виску, я останавливаюсь у порога. Николаенко, улыбаясь, подходит к майору.

– Ось побачь, якого хлопца я тоби привел.

– Вместо Мушкова, что ли? – спрашивает тот.

– Ага... Он военный переводчик, был ранен, я перехватил его по дороге из санбата... Добровольно пишов до армии, комсомолец. Был у Симоненки.

Майор молча бросает на меня пронизательный взгляд.

– Так шо, оформим вместо Мушкова? – торопится Николаенко.

– Подожди, – говорит майор. – Подойдите ближе, – приказывает он мне.
Я подхожу.

– Вы знаете, что должность переводчика в штабе полка ликвидирована?
Я этого не знаю.

– Аттестацию на вас подавали?

– Кажется, нет.

– Ну, вот, видишь... Не можем мы оформлять красноармейца на должность помощника начальника разведотделения штадива, – заключает майор.

Николаенко недовольно морщит шишковатый нос.

– Так шо, по-твоему, оставлять Мушкова?

– Так ведь этот-то – красноармеец, – раздраженно говорит майор. – Вам как комиссару штаба надо бы понимать такие вещи.

– Ну, и аттестуем, – тоже раздраженно говорит Николаенко. – И прошу вас, товарищ начальник штаба, не забываться, уот...

– Разрешите мне вернуться в полк, – обращаюсь я сразу к тому и другому.

– А вас не спрашивают. Выйдите в сени! – грозно приказывает майор.

Глубоко оскорбленный, выхожу. Так еще никто со мной не разговаривал. И главное, за что?

В открытой двери второй половины избы показывается юноша с двумя кубиками на петлицах. У него пухлые губы, прыщавый лоб, круглые темные испуганные глаза. Он быстро проходит, почти пробегает мимо меня к начальнику штаба. По-видимому, это и есть Мушков.

Вскоре вызывают меня.

– Через несколько дней вы примете дела заведующего делопроизводством оперативного отделения, – сухо говорит майор. – А пока будете помогать технику-интенданту второго ранга Мушкову. Ясно?

– Ясно, – отвечаю я... По-другому отвечать в армии не положено – доволен ты или нет, согласен или не согласен.

Нас с Мушковым отпускают.

Мой новый непосредственный начальник ведет меня на жилую половину избы. Тут есть и неизменная в здешних крестьянских домах дощатая переборка, и добрая русская печь, и вдобавок между стеной и печью закуток, прикрытый ветхой ситцевой занавеской. Туда прямо и заводит меня мой начальник.

Мы садимся на топчан, застеленный шинелью. Знакомимся. Мушков сообщает, что его зовут Костей.

– Снимай шинель, а то вспотеешь, – говорит он. В закутке, верно, жарковато, темно и жарковато. – Правда, здесь тараканы, но они не кусаются, – предупреждает он. – Ты где учился на переводчика?

Говорю, что специально, нигде – сам... Мушков в отличие от меня после десятого класса закончил трехмесячные курсы.

– С языком, значит, не особенно? – осведомляюсь я.

– Конечно, не особенно... Но не в этом дело. Николаенко меня невзлюбил. Придирается. Говорит, будто я все время сплю.

– Ладно, в работе я тебе помогу... А работы много?

– То-то и беда, что никакой работы нет. – Мушков печально вздыхает. – А если нет, то что же мне делать? Вот и сижу здесь за печкой... с тараканами. А сплю не больше других, он просто придирается ко мне.

Молчим некоторое время, прислушиваясь к домовитому шуршанию на стенах. Поневоле начинает клонить ко сну.

– Ты уралец? – спрашиваю я.

– Нет, москвич. Точнее, из Кунцева. А ты? Сидим еще минут пять. Наконец я не выдерживаю.

– Знаешь, пойдем лучше на улицу.

– Пойдем, – соглашается Мушков. – Только ненадолго. А то вдруг хватятся, это еще хуже, чем когда застают спящим.

3

Он на полголовы выше меня, с пухлыми бледными щеками и розовыми прыщиками на лбу; один глаз немного косит. Несмотря на то, что он почти на год старше меня, и я прикреплен к нему в помощники, на то, что он аттестован, а я нет, между нами сразу устанавливаются отношения, при которых первое слово принадлежит мне: как-никак я уже понюхал порошу, и это отлично понимает Мушков.

– Тебе бы надо встряхнуться, – говорю я, когда мы сходим с крыльца. – Попросись дня на два на передовую.

– А вдруг убьют? – испуганно возражает Мушков. На это я не нахожу, что ответить: правда, убить могут.

– Может, зайдём в разведроту? – предлагает он. Поворачиваем к обгорелому дому и там возле калитки сталкиваемся с низеньким темнолицым лейтенантом.

– Скучаете? – насмешливо, но беззлобно говорит он Мушкову.

– Вот, знакомлю нового товарища, – невнятно отвечает Мушков. – Пока прикреплен к нам.

Лейтенанту на вид лет тридцать пять. Судя по черным миндалевидным глазам и горбтому носу, он не русский: грузин или армянин. Я поясняю ему, что временно назначен помощником переводчика.

– Понятно, – говорит лейтенант. – Идемте обратно в штаб, разведчики позаботились о работе для вас.

– Это Григорьян, начальник отделения, мой шеф, – шепчет в сених Мешков. – Кандидат исторических наук. Нестрогий.

Проходим за перегородку. Григорьян выкладывает на стол кипу немецких бумаг, раздобытых минувшей ночью дивизионной разведкой. Тут и письма, и блокноты, и тонкие листы, заполненные машинописным текстом, – вероятно, приказы или инструкции. Обрадованные, мы с Мушковым садимся за работу.

Мушков просит меня не спешить: потом опять нечего будет делать. Для начала рассортировываем бумаги по степени их важности. Попутно я присматриваюсь к новой для меня жизни штаба дивизии.

По сравнению с нашими полковыми штабистами эти более пожилые и более высокие по воинскому званию. Одного из них, маленького энергичного капитана, я не раз видел в нашем полку.

– Разрешите приступить к составлению оперативной сводки, товарищ начальник? – почтительно обращается он к рослому синеглазому майору, черному и морщинистому.

– Валяй, – хрипато отвечает тот, сворачивая здоровенную самокрутку.

У капитана вздрагивают уголки губ – очевидно, ему не нравится такая форма ответа, но он тотчас достает из планшетки карту, блокнот и помятые исписанные листки, похожие на те, которые мы ежедневно направляли из штаба полка в штадив.

Тихонько спрашиваю у Мушкова, кто они, этот капитан и майор.

– Это майор Ерошкин, начальник оперативного отделения, хороший мужик, а капитан Пиунов – его первый помощник, педант, службист.

Еще раз гляжу на Ерошкина и Пиунова: через несколько дней я должен перейти в их распоряжение. Ерошкин, полуобернувшись к окну, пускает огромные клубы махорочного дыма, Пиунов, чуть склонив голову, быстро строчит в блокноте.

Около двери у телефонов сидит подтянутый, с правильными чертами лица старший лейтенант. Ровным голосом он спрашивает что-то про связь, требует то «Марс», то «Землю», то «Луну». Одной рукой он придерживает наушники, а другой постукивает карандашом по колену. На нем не ватные стеганые брюки, как у всех, а синие галифе.

Мешков сообщает, что это начальник связи Павел Самойлов, москвич, его земляк. Любитель старинных романсов. Очень корректный.

Рассортировав немецкие бумаги, принимаемся сперва переводить те, которые помечены грифом «geheim» («секретно»), Мешков опять просит меня не спешить. Он вынимает из кармана распечатанную пачку «Беломора».

– Старший лейтенант, не хотите? – Он показывает Самойлову папиросы и говорит мне – Московские, явские. Отец на Новый год прислал, он у меня завмаг... Бери!

Закуриваем. Подходит Самойлов и тоже закуривает.

– Есть что-нибудь интересное? – кивает он на наши бумаги.

– Пока ничего особенного, – отвечает Мешков. Пиунов кидает в нашу сторону негодующий взгляд.

Через минуту, закончив писать, он поднимает на Самойлова усталые, с кровавыми прожилками глаза.

– А что, Аида не звонила? – помедлив, спрашивает Пиунов слегка изменившимся голосом.

– Нет. – Самойлов, подмигнув Мушкову, вновь садится за телефоны.

Мушков наклоняется над моим ухом.

– Аида – это машинистка оперативного отделения, она сейчас помогает отделу кадров. Ничего девочка, веселая. У тебя женщины уже были?

Вот тебе и Мушков!

Я вспоминаю Нину, и мне становится грустно... А может, все так и должно быть в человеке – и страх, и любовь, и потребность в ласке, и готовность, если надо, умереть за Родину?

Я отрицательно качаю головой.

Мешков шепчет:

– А у меня была одна – продавщица. Ну, давай трудиться.

4

На другой вечер меня вызывают к начальнику штадива. Еще не доходя до двери, слышу стук пишущей машинки, шум, хриловатое урчание голоса майора Ерошкина.

Начальник штадива сидит у своего стола, закинув ногу за ногу, и заливается тонким беззвучным смехом. Посреди комнаты стоит Ерошкин. Лукаво поблескивая синими глазами, он что-то рассказывает. У другого стола за портативной машинкой – симпатичная девушка, рядом – аккуратно причесанный, средних лет старшина. В тот момент, когда я захожу в комнату, девушка раздражается взрывом такого неподдельно-задорного хохота, что даже черный морщинистый майор Ерошкин, который по положению рассказчика должен был бы, очевидно, хранить серьезность, не выдерживает и сам смеется, взмахивая отчаянно рукой и охая.

В некотором замешательстве я останавливаюсь у двери.

Начальник штадива утирает слезы.

– Ну, хватит тебе, Ерошкин.

– Ей-богу, так и сказал. Такой ведь был плут, Еконя-Ваня!

И снова все хохочут.

Начальник штадива взглядывает на меня добрыми, еще смеющимися глазами из-под тяжелых бровей.

– По вашему приказанию явился, – докладываю я.

– Хорошо. Принимайте дела. Аида, донесение готово?

Девушка извлекает из машинки веер черно-белых листков.

Дела сдает мне аккуратно причесанный старшина. Я перебираю пронумерованные папки с надписями: «Оперативные сводки», «Боевые донесения», «Входящая почта», «Исходящая почта» – всего около десятка. Разобраться в таком хозяйстве не торопясь было бы, вероятно, нетрудно, но старшина поминутно поглядывает на часы: он должен еще сегодня поспеть на новое место службы, в штаб армии.

– Все поймете. Тут и понимать-то нечего, – говорит он.

Наконец он расписывается после слов: «Дела сдал», я строкой ниже: «Дела принял». Вся процедура длится не более двадцати минут.

Старшина прощается с начальником штадива, с майором Ерошкиным, пожимает руку Аиде, мне и уходит.

Я еще раз не без тревоги просматриваю пронумерованные папки: не запутаться бы. Начальник штадива – его фамилия Павлычев, это я вижу по подписи на распоряжениях – берет экземпляр боевого донесения и отправляется к командиру дивизии. Аида начинает что-то отстукивать на машинке под диктовку Ерошкина.

Через полтора часа передо мной высится гора деловых бумаг. Боевой приказ надо разослать в полки и спецподразделения дивизии, боевое донесение – в штаб армии.

– Смелее, смелее, Еконя-Ваня! – подбадривает меня Ерошкин.

Оказывается, этим же вечером мы должны сняться с места и занять новый оборонительный рубеж в восемнадцати километрах от нашего села.

С помощью Аиды я регистрирую документы, запечатываю сургучом пакеты и передаю оперативному дежурному. Потом, уложив папки в чемодан, иду ужинать.

Мушков уже спит. В закутке под топчаном стоят два котелка: в одном каша, в другом чай. Я быстро управляюсь с едой и кричу:

– Подъем!

– Вызывают? – Мушков спрыгивает с топчана, быстро кулаками трет глаза.

– Никто не вызывает, просто сейчас уходим. Мушков с облегчением вздыхает.

– А я думал, опять...

Скоро раздается команда на выход.

Беру чемодан с делами, поторапливаю Мушкова. Нас ждет лошадь, запряженная в розвальни. Рядом с нашими вещами ложатся вещи других штабистов. Аида уезжает в кошевке начальника штадива Павлычева. Ерошкина приглашает к себе комиссар Николаенко. Пиунов, Григорьян и начальник связи Самойлов садятся на вторые розвальни.

Штаб дивизии выезжает из села.

Мы с Мушковым молча шагаем за подводой. Чемодан с документами охраняет наш посыльный, вооруженный винтовкой, он примачивается возле ездового. Ночь теплая, тихая, наверно, будет оттепель. Порой низко над горизонтом вспыхивают ракеты, выгибаются светящиеся пунктирные трассы, но это далеко и похоже на воспоминание.

Проходит час, два, три. Каждые полчаса мы с Мушковым поочередно присаживаемся на розвальни передохнуть, но быстро замерзаем и снова идем в безмолвной мглистой ночи.

Но вот наша подвода останавливается около темного дома. Впереди у крыльца виднеются пустые сани, на которых ехали Пиунов, Самойлов и Григорьян. Немного в стороне – кошевки Павлычева и Николаенко.

Я подхватываю одной рукой чемодан, другой – вещмешок и захожу в дом. На столе у окна копилка. За столом Павлычев. В углу монотонно бубнит, вызывая какую-то «Розу», дежурный телефонист. Я крепко устал, вероятно, еще не набрался сил после медсанбата.

– Подойди сюда! – резко приказывает Павлычев. В недоумении подхожу. – Знаешь, что ты наделал, раззява?.. Ты послал в штаб армии экземпляр боевого приказа для полков, а в одну из частей – боевое донесение для штаарма. Ты у меня сейчас же отправишься за тридцать километров в штаарм! Ясно?

– Ясно, – отвечаю я, полный ужаса.

– Разгильдяй! – кричит Павлычев. – Раззява!

Я молчу... Лучше бы мне провалиться сквозь землю!

– Марш спать!

Повернувшись, бреду в соседнюю темную комнату, ставлю у двери чемодан, сверху кладу вещмешок и тут же, не раздеваясь, валюсь на пол. Голова попадает на чьи-то ноги – все равно! На душе горько, до того горько, что заревел бы.

5

Уже сквозь сон ощущаю яркое пятно света, направленное в мое лицо, слышу осторожные шаги. Затем свет еще дважды возникает неподалеку и гаснет.

Пробуждаюсь с тяжелой головой. Возле меня чьи-то ноги – маленькие серые валенки. Приподнявшись, вижу белый полушубок и розовое лицо спящей девушки. Сразу вспоминаю вчерашний провал, на душе делается опять нехорошо, встаю, умываюсь во дворе талым снегом, потом, перебравшись в пока пустую служебную комнату, снова начинаю изучать свои папки с делами.

Постепенно комната наполняется хриловатыми голосами. Самойлов уезжает с проверкой в один из полков. Григорьян – он сегодня оперативный дежурный – обзванивает части, требуя доложить обстановку. Входят незнакомые люди. Начальники отделений коротко и хмуро отдают им распоряжения.

Из соседней комнаты доносится голосок Аиды, выползает заспанный, весь в соломе Мушков. Майор Ерошкин, положив руку мне на плечо, негромко, укоризненно спрашивает:

– Ты что же это наделал-то вчера? А? Ладно еще связь была, поправили ошибку, а кабы не было связи?..

Шумно появляется комиссар штаба Николаенко. Он идеально побрит, подтянут, новенькие ремни скрипят на нем; свежий, крепкий, как огурчик. Захлебываясь от радостного возбуждения, он говорит, остановившись посреди комнаты:

– Усэ на месте? А Аида де? А Мушков?.. Представляете, захожу ночью у комнату и бачу: Аидочка так раскинулась, а Мушков руци протянул до ней, а з другой стороны товарищ майор Ерошкин, а этот малый... – Николаенко бросает на меня радостный взгляд и, еще более захлебываясь, продолжает: – а малый так нежно-нежно обнял Аидочкины ноги.

На лицах штабистов разглаживаются озабоченные складки. Ерошкин похохатывает. Из полураскрытой двери выскакивает одетая в гимнастерку и брюки Аида.

– Опять разыгрываете меня, товарищ комиссар?

– От честное слово даю! – Николаенко улыбается еще шире и, улыбаясь и поскрипывая ремнями, уходит.

Настроение повышается. Голоса веселеют. Ерошкин спрашивает, завтракал ли я, и, узнав, что нет, отправляет меня на кухню, попросив захватить заодно его котелок.

Только возвращаюсь и еще не дохожу до штаба, как вдруг в конце деревни с треском и грохотом рвется снаряд. Я уже поотвык от этого – становится страшно. С грохотом рвутся подряд три снаряда – я распластываюсь на снегу, потом, подхватившись, быстро бегу... В штаб-

ном доме пусто. Вылетаю во двор, несусь к одному из блиндажей, построенных посреди огорода, кубарем скатываюсь по земляным ступеням.

Внутри в желтоватом свете вижу Павлычева, Ерошкина, Пиунова. Пиунов сидит за дощатым столом, перед ним карта и донесения из частей, он пишет в блокноте: вероятно, обстрел застал его за составлением оперативной сводки. Павлычеву нездоровится, он кутается в свою длиннополую шинель.

Ерошкин берет у меня котелок и спрашивает, вздергивая подбородок:

– Ну, что там?

Ударяет еще раз, затем еще. Павлычев просовывает руки в рукава шинели и приказывает телефонисту соединить его с оперативным дежурным. Григорьян – он, очевидно, в соседнем блиндаже – пока ничего объяснить не может. Павлычев толкает дверь, в блиндаж вместе с оглушительным треском и косым синеватым отсветом врывается волна воздуха. Коптилка гаснет. Павлычев захлопывает дверь. Пиунов в темноте чиркает спичку и подносит дрожащий огонек к дымящемуся фитилю.

Ерошкин, стоя, ест из котелка. Павлычев, опоясываясь ремнем, снова требует оперативного дежурного. Пиунов продолжает писать, лицо его непроницаемо и неподвижно.

– Откуда стрельба? Что? – кричит Павлычев в трубку. – Я без вас вижу, что тяжелыми... Полки, полки... Спокойно? Что? Что?.. Алло!

Наверху гудит и ударяет. Наш потолок вздрагивает, сыплется земля.

– Алло! – кричит Павлычев. – Связь!

Ерошкин ест, загораживая котелок ладонью. Пиунов пишет, держа туловище неестественно прямо.

– Связь! – кричит Павлычев. – Связь! – Потом отдает трубку телефонисту. – Обождите пока, – говорит он другому телефонисту, который сунулся было к двери.

Павлычев подходит к столу, опускается на скамью. Пиунов вопросительно поднимает на него глаза. Ерошкин наконец закрывает крышкой котелок и тоже садится за стол. И я сажусь.

Тяжелые снаряды продолжают молотить деревню. Снизу, кажется, будто колотят огромные железные цепи. Все чаще и сильнее вздрагивает перекрытие блиндажа, сочится песок. Если будет прямое попадание, наши четыре наката не выдержат. Это может произойти в любую следующую секунду.

Я гляжу на Пиунова. Он пишет. В синих глазах Ерошкина отражается колеблющийся огонек коптилки. Павлычев смотрит прямо перед собой, челюсти его крепко сцеплены.

Вот мы, наверно, и сравнялись, думаю я. Он – начальник штадива, майор, и я неаттестованный заводопроизводством, раззява. Перед лицом смерти мы одинаковы, сейчас мы просто люди, которые не в силах остановить стальной шквал, гудящий над нашей головой... Может быть, проходят часы, а может, минуты – мы ждем.

Огромный боевой цеп со страшной мощью ударяет поблизости – пламя коптилки ложится набок и гаснет. Новый удар – блиндаж на момент озаряется голубым сиянием, и слышно, как ворочаются бревна. Павлычев вскакивает на ноги, вскакивает Ерошкин. Чиркает спичка, твердый острый язычок огня вновь засвечивает фитилек.

Пиунов тушит спичку и аккуратно прячет ее обратно в коробку – не бросает... В эту минуту я прощаю начальнику штаба за «раззяву» и «разгильдяя»: прав он, прав «службист» Пиунов, а не мы с Мешковым, меряющие здесь на войне людей привычной мирной меркой... Ерошкин что-то сконфуженно бормочет. Павлычев, насупя брови, опять садится за стол.

А у меня вдруг начисто пропадает страх. И хотя железный цеп еще тяжело похаживает вокруг блиндажа, я почему-то убежден, что с нами ничего не случится. По крайней мере пока горит огонек коптилки, и возле нее работает маленький педантичный капитан.

Через четверть часа все затихает. Мы поднимаемся наверх. В десяти шагах от блиндажа край громадной воронки, из-под раскиданной земли на перекрытии выглядывают желтые торцы бревен...

Вечером я пишу матери письмо. Пишу ей о том, что меня окружают хорошие, смелые люди, что я здоров. Я прошу ее не беспокоиться обо мне и поцеловать сестер. О ранении так и не сообщаю: зачем волновать, когда самое опасное и трудное для меня уже позади?

6

Настает весна. Дороги, в просолах и буграх, делаются непроходимыми, повсюду – у обочин, в покрытых тонким ледком канавах и прямо в поле – темнеют вытаявшие трупы. Боевые действия, если не считать перестрелки и поисков разведчиков, приостанавливаются.

Мы перебираемся в лес, в блиндажи. Пользуясь затишьем, я начинаю всерьез заниматься военным самообразованием. Мне помогает майор Ерошкин: учит читать карту, ориентироваться на местности, понимать разные непростые военные термины.

В самую распутицу, в середине апреля, я вновь налегаю на немецкий – приходится по совместительству замещать заболевшего Мешкова – и очень радуюсь, что Павлычев доверяет мне допрос пленного эсэсовца, девятнадцатилетнего прохвоста из Ганновера...

Я слушаю, как в светлом ольшанике, подернутом нежной майской зеленью, поют соловьи, и, подавляя всякие недостойные лирические порывы, упорно учусь рисовать схемы, которые мы прилагаем к нашим боевым донесениям в штаб. Я штудирую условные знаки – наши и немецкие – огневых точек, артбатареи, стрелковых ячеек, КП и НП, упражняюсь в их начертании и потом сам себя экзаменую.

Работаю где попало: на пенке, около костра, сидя под шуршащим от дождя зеленым пологом. Ерошкин диктует, а я, положив на колено планшетку, пишу, и это тоже похоже на урок: мне не без труда дается сжатый, часто отступающий от обычных грамматических норм язык военных донесений...

Незаметно подходит июнь. Мы прочно обосновываемся в деревне Воронцово, у истоков Днепра – в здешних местах узкой речки. На передовой по-прежнему спокойно (мы наступать пока не можем, у нас здесь слишком мало сил; немцы, по-видимому, тоже не готовы к наступлению) и жизнь штадива в это время протекает так, как, по моим представлениям, она должна протекать в мирных условиях. Мы работаем и отдыхаем строго по часам. Я получаю наконец общественную комсомольскую нагрузку: читать газеты бойцам комендантской роты, обслуживающим штаб. Организуется столовая, вводятся политзанятия и командирская учеба.

Теперь я занимаюсь с еще большим рвением, учусь, может быть, бессистемно, но учусь, на мой взгляд, главному, что необходимо культурному штабисту, – от правил военной этики и составления оперативных сводок до меткой стрельбы из пистолета, – и когда в конце июня погожим вечером майор Ерошкин извещает меня, что приказом командира дивизии мне присвоено звание старшего сержанта («В семнадцать годов и старший сержант, а, Еконя-Ваня?!»), я даже не пытаюсь скрыть своей бурной радости: значит, я уже кое-что умею, я нашел свое место и отныне, наверное, по-настоящему нужен в армии...

Я торжествую, и я полон самых радужных ожиданий. Я уверен, что где-то в глубинах нашего тыла собираются новые могучие силы, и скоро, очень скоро, мы опять – теперь уже безостановочно – погоним фашистов с нашей земли.

Глава пятая

1

5 июля 1942 года над штабом на большой высоте проходит немецкий двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф». В другое время на него, вероятно, не обратили бы особого внимания, но вот уже несколько дней в штадиве творится что-то непонятное: проводятся секретные совещания, все начальники приуныли...

К вечеру нам приказывают снова перебраться в лес, в загодя выстроенный шалашный городок. Однако едва разгружаем повозки в лесу, поступает новое распоряжение: оставить городок и следовать по дороге на северо-запад вместе с проходящими частями. Наши начальники срочно уезжают в полки... Опять погружаемся, опять трясемся по корням. Потом нас поглощает колонна – пешие, конные, какой-то обоз.

Мушков, я и наш посыльный сидим на передней подводе, на задней – три бойца комендантской роты. Сумерки сгущаются. Голос Мушкова, назначенного старшим нашей группы, почти беззвучен...

Окружение. Да, теперь полное окружение: немцы замкнули кольцо, но с рассветом мы пойдем на прорыв. Впереди гвардейские части, усиленные танками, тяжелой артиллерией и «катюшами». Танки будут охранять нас с флангов, в середине должны двигаться армейские и дивизионные тылы. Один из наших полков замыкает колонну с задачей сдерживать противника с юга. Есть точный, разработанный во всех деталях план.

С полчаса едем в безмолвии. По бокам в темноте колышутся головы бойцов, всхрапывают кони, вспыхивают красные угольки сигарок. Заметно свежеет.

Развязываем вещмешки, едим, затем, по совету посыльного, старого солдата, пытаемся по очереди подремать. Мне это удается.

...Открываю глаза. Мы стоим. Пахнет сыростью, травой, колесной мазью. Внизу чернота, но небо уже начинает наливаться предрассветной мутью.

– Почему встали?

– Пробка, – отвечает ездовой.

Мушкова и посыльного нет. Соскакиваю с повозки. Очень свежо. Мимо, колыхаясь, продолжает двигаться пехота. Из черноты выходит посыльный, за ним Мушков.

– Чертов мост! – ругается Мушков. – Надо же было ему провалиться так некстати... Целый час из-за него потеряли.

Снова едем. Нас обгоняют танки – они ползут метрах в двухстах в стороне. Небо все более мутнеет. Мушков говорит, что до рассвета мы должны сосредоточиться в большом лесу южнее намеченного пункта прорыва.

Просветляется небо. Отчетливее видны люди. Они идут по дороге и по полю – сотни людей со скатками шинелей и с винтовками за плечами. По бокам урчат танки, они приостанавливаются и опять ползут вперед.

Небо принимает зеленоватый оттенок. Ярко горит заря. Люди уже не идут – они бегут, многие сотни людей с винтовками и со скатками шинелей. Я вкладываю в трофейный автомат магазин, встаю на колени.

Впереди темный лес и целая река повозок. Вершины ближних елей окрашиваются в нежно-розовый цвет.

Мы достигаем лесной опушки в тот момент, когда за нашими спинами начинают гудеть немецкие самолеты.

Почти в ту же минуту впереди раздается стальной грохот артиллерийского залпа. Оглядываюсь. За нами в клубах пыли людской поток, разлившийся километра на два.

Стальной грохот повторяется. Вздрагивает воздух. Мы прыгаем с повозки. Сзади напирают – бежим. Слышен напряженный прерывистый шум: бьют «катюши». И снова стальной перекатистый грохот.

Взглядываю на Мушкова. Он сжал зубы. Посыльный задирает голову – его тревожит воздух. В паузах между орудийными залпами доносится нарастающее рокотание самолетов... Неужели накроют нас?

Мы бежим уже в лесу. Оглядываться некогда. Впереди на широком фронте гремит наша артиллерия. Подразделения растекаются по лесу, но все устремлены на север, туда, где сейчас будет взламываться немецкая оборона. Наши танки, вероятно, достигают рубежа атаки – по обе стороны дороги тянутся свежие полосы раздавленных кустов.

Мы углубляемся в лес, наверно, на полкилометра, как над нами вдруг раздается резкий вой и шипящий свист.

– Ложись! – командует кто-то.

Прыгаю через канаву, падаю и поворачиваю голову. Вижу пикирующий «юнкере» и еще «юнкерсы» – огромная ревущая стая повисла над лесом. Оглушительный взрыв будто подбрасывает меня.

Я впираюсь пальцами в узловатое корневище, смыкаю веки. Поют осколки, и новый взрыв, как удар грома над головой, и еще, и еще взрывы...

Дрожит земля. Трещат, ломаясь, деревья. Вой, свист и грохот не утихают ни на минуту. Еще удар и еще удары, и нет никакого конца. Нет конца реву, свисту, грохоту, дрожанию земли. Я почти физически ощущаю, как лес наполняется стонами, кровью, криками, паникой.

Внезапно в общем хаосе звуков слух улавливает нечто новое. Приподнимаю голову. Между верхушек иссеченных елей – стеклянное небо, и в нем дымная, низвергающаяся полоса огня. Немного поодаль вижу горящий «юнкерс». Грохочут еще взрывы, но «юнкерсов» уже нет. В блестящем небе кувыркаются какие-то светлые птички, за ними носятся другие, длинные, – это «мессершмитты». Идет воздушный бой. Он постепенно отдаляется к востоку.

Встаю. В ушах звенит... Где же наши? Как прорыв?.. Я слышу стон, который тут же заглушается грохотом близкого минометного разрыва. Отовсюду поднимаются головы.

Выхожу на дорогу. Потока больше нет. Лес посветлел – собственно, это уже не лес, а остатки, обломки леса... Где же повозка? Где Мушков? Почему немцы стреляют сюда из минометов?

Гляжу влево и вправо. Бегу вперед. Слева огромная бомбовая воронка и рядом трупы лошадей, убитые люди... Нет, не мои. Бегу назад. Смотрю на другой стороне – ни Мушкова, ни повозки, никого из наших бойцов; только убитые, но эти тоже незнакомые.

Снова бегу вперед по узкой пыльной дороге. Думаю, что если Мушков и повозка уцелели, то они должны двигаться дальше, к пункту прорыва. Пережидаю очередной минометный разрыв, вскакиваю на ноги и опять бегу.

Кругом валяются убитые. Живые понуро бредут на север... Лишь бы не опоздать, лишь бы прицепиться к колонне... Но почему немцы так спокойно обстреливают лес из минометов? И почему больше не слышно наших пушек?

Дорога впереди пуста. Передо мной глубокая черно-рыжая воронка. Около нее в кустах люди. Подхожу ближе. Люди, опустившись на колени, обливают керосином связки бумаг, поджигают и сбрасывают вниз.

– Что вы делаете?

Один из поджигающих обращает ко мне пунцовое лицо.

– Документы...

– А прорыв? Прорыв?

– Нет больше прорыва. – Пунцовый зло сплевывает в огонь.

Огибаю воронку с пылающими бумагами. Навстречу по обочине дороги и прямо по лесу меж стволов плетутся бойцы. Многие с повязками, некоторые без винтовок. Останавливаю пожилого старшину с забинтованной головой.

– Вы какой части? Он не отвечает.

– Что случилось? – кричу я. Старшина болезненно морщится.

– Отрезали, что ли? – кричу я, кивая на север.

– Отрезали... рассекли колонну танками... остальное – авиация. Ох! – с усилием произносит раненый и, махнув рукой и уже не глядя на меня, бредет дальше.

Шагов через сто натываюсь на молоденького лейтенанта-артиллериста с суковатой палкой в руке. На одной ноге у него нет сапога – стопа обмотана грязным вафельным полотенцем.

– Дай закурить, – просит он у меня. На его бледном лице пот.

– Некурящий.

– Скверно... Все скверно, – заключает он. – Тебе не попадалась какая-нибудь санчасть?

– Нет. А что впереди?

– А черт его знает, что впереди... Сейчас передали – просачиваться мелкими группами.

Главные силы вроде там... продвигаются с боем, а нам просачиваться... А как это сделать, разрешите узнать, если прострелена нога и... разбиты все пушки? – В расстегнутом вороте гимнастерки лейтенанта белеет странно тонкая шея. – Так санчасти, говоришь, не попадалось?

– Нет.

Артиллерист вытирает потный лоб.

– Что ж, тогда скажем – всё. Подстрелю еще из пистолета парочку фрицев и спою... прощай, любимый город.

Он силится улыбнуться, но видно, он готов разрыдаться...

Иду по инерции еще некоторое время вперед, понимаю, что бессмысленно: впереди пусто, но все-таки иду, потом останавливаюсь возле переломленной пополам молодой сосны. На изломе в солнечном свете разноцветными огоньками вспыхивают капли застывающей смолы... Чувствую, что на меня наваливается отчаяние.



Как все быстро! Как неожиданно!.. Разгром. Что же делать? Как найти хоть кого-нибудь из своих?

Я сажусь на землю, закрываю лицо руками и тотчас вскакиваю. Придерживая на груди автомат, бегу обратно вслед за лейтенантом, но он куда-то пропадает... Что же делать? Что делать?

Возвращаюсь к черно-рыжей воронке, где какие-то штабисты жгли бумаги, – их тоже нет... Почему я не пристал к ним? И почему в лесу тишина? Успел ли Мушков вместе с посыльным и ездovým, если они не погибли во время бомбежки, уничтожить наши документы?

Кружу по изувеченному лесу часа два, пытаюсь отыскать бойцов из своей дивизии или какое-нибудь подразделение с командиром, однако повсюду вижу только убитых, раненых и небольшие группы совершенно растерянных и измученных людей.

2

Поблуждав еще немного, решаю вернуться к опушке. Мне припоминается, что колонну должна замыкать одна из частей нашей дивизии. Возможно даже, что наши батальоны обороняют этот лес с юга.

Обхожу стороной разбитые повозки, конские трупы, затем через несколько минут сворачиваю с дороги... Прямо передо мной в тени орешника сидит... воентехник Иванов – да, это он, Иванов, – а рядом с ним пожилой, с брюшком человек, лицо которого тоже знакомо, и какой-то старший сержант... Иванов держит на коленях развернутую карту, человек с брюшком неотрывно следит за движением его указательного пальца.

– Товарищ Иванов!

Он вскидывает глаза – он сильно загорел и похудел.

– Не узнаете?.. Зима, медсанбат, – напоминаю я.

– А-а, ну как же... Здравствуй... Ты один?

– Бывший адъютант Симоненко, по-моему, – прищуриваясь, говорит пожилой.

– Да. А вы, по-моему... помощник командира полка по хозяйственной части.

– Совершенно верно.

Наконец-то свои!.. Я страшно рад, просто счастлив.

– Присоединяйся, – говорит Иванов. – Мы обсуждаем, куда нам податься... Что ты знаешь об обстановке?

Он по-деловому спокоен и сосредоточен.

Сообщаю все, что мне известно. Иванов подтверждает, что поступил такой приказ командующего – просачиваться мелкими группами. Он, Иванов, лично того мнения, что нам следует идти сперва на юго-запад, где немцев, несомненно, меньше, а потом восточнее Белого повернуть снова к северу и лесами и болотами попытаться достигнуть Нелидова, возле которого должна проходить основная линия фронта.

– Двигаться придется только ночами. Днем отдыхать... Вы как, товарищ интендант третьего ранга?

Помкомполка – он почему-то без знаков различия – кивает.

– Я целиком и полностью... План хороший. И в дальнейшем прошу принимать решения и командовать, товарищ Иванов... вы меня, конечно, понимаете.

– Твое мнение? – Иванов смотрит на меня.

– Я согласен.

– А ты, Герасимов?

– Я, как все, – отвечает старший сержант, очевидно, сослуживец и подчиненный Иванова.

На душе делается веселее. Нас четверо, у нас два автомата, винтовка, три пистолета, карта, компас. Правда, все мы нестроевые, но оружием владеем. Вероятно, мы теперь и есть одна из тех мелких боевых групп, которые по приказу командующего должны просачиваться через вражеское кольцо...

– Какие предложения, товарищи? – спрашивает Иванов.

– Давайте перекусим, – говорит помкомполка, развязывая большой, туго набитый рюкзак. – А вы, молодой человек, что же так, налегке?

– У меня все осталось на повозке... и шинель и мешок. Не мог найти после бомбежки.
– Ничего, теперь у нас все общее, – успокаивает меня Иванов.

Мы едим сухари и копченую колбасу из запасов помкомполка, Иванов пускает по кругу фляжку с холодным чаем, потом проверяем оружие и встаем.

Уже полдень. Немцы сейчас обедают. В лесу тихо.

Пересекаем дорогу, движемся по наклонной извилистой тропе и скоро выходим на берег болотистой речки. Осматриваемся, прислушиваемся. Иванов, раскрыв планшетку, пробует сориентироваться.

Через речку перебираемся по сваленной ели – впереди Герасимов, за ним Иванов, помкомполка и я. Только ступаю на дерево, как позади раздается треск автомата...

Спрыгиваем на трясинистый берег, вновь слышим автоматные очереди и быстро углубляемся в редкий ельник. Здесь одурманивающе пахнет багульником, стоячей водой, болотной гнилью. Взбираемся на бугорок, поросший ивняком.

– Надо узнать, что там. – Иванов указывает в ту сторону, где должна находиться просека.

Герасимов, не произнеся ни слова, берет винтовку за плечо. Я отправляюсь вместе с ним.

Пригибая головы и вспугивая тонконогих куличков, бесшумно идем в заданном направлении. Подле густой одиночной ели Герасимов останавливается. В эту минуту спереди доносится гулкая автоматная очередь. Мимо, чирикавая, проносятся пули.

Гляжу прямо. Ивняк, островки зеленой осоки и бархатисто-желтый влажный мох. Недалеко стена невысоких глянцевиных елок.

– Я поползу туда, а ты случай чего прикрывай, – говорит Герасимов. Голос у него глуховатый, лицо темное и строгое. – Держись шагов за сто.

Ползем. Колени и гимнастерка на груди промокают. Руки то и дело по локоть проваливаются в воду. Кисти черны и блестят на солнце.

На момент Герасимов исчезает из моего поля зрения. Ползу проворнее и чуть не напарываюсь носом на его сапог. Герасимов лежит в осоке метрах в пятидесяти от ельника. Пячусь до ближнего куста. Справа, как будто совсем рядом, строчит автомат. Никого не видно. Сапоги тоже исчезают. Опять переползаю вперед в примятое место. Герасимов, почти неразличимый в траве, скрывается в ельнике.

Снова автоматные очереди – справа и слева. Жду Герасимова. Кажется, жду очень долго. Наконец появляется. На темном лице капельки пота, ко лбу приклеилась сухая былинка.

– Там дорога, гать, – шепчет он. – Становят тяжелые минометы, чуток правее. А тут автоматчики по опушке, ты сам, поди, видел...

Возвращаемся к своим. У Иванова автомат наготове, помкомполка надел очки... Герасимов докладывает, и Иванов делает пометки на карте.

– Будем отдыхать, – говорит он. – Я дежурю первым, ты, Герасимов, вторым.

– Есть, – отвечает тот.

Отвечает как положено, думаю я. Это хорошо.

Сажусь на бугорок в кусты, подтягиваю под себя ноги, опускаю лицо в колени и сразу проваливаюсь в какое-то небытие.

3

Меня поднимает Герасимов. Иванов и помкомполка спят, завернувшись в плащ-палатки. Уже шестой час. Немцы постреливают.

– Гляди особенно туда. – Герасимов кивком показывает на густую одиночную ель. – Ежели будет все спокойно, начальников не тревожь, я сам тебя сменю через два часа.

Он раскатывает шинель, ложится и затихает.

Время останавливается. Вьется мошкара, тонко звенят комары. Каждая минута как вечность. Смотрю и слушаю, думаю, прислушиваюсь и смотрю.

Но вот восемь. Бужу Герасимова.

– Все в порядке?

– Да.

– Подремли еще пару часиков на моей шинелке. Укутываюсь с головой во влажную, пропахшую ружейным маслом и махоркой шинель. На этот раз долго ворочаюсь, вспоминаю Павлычева, Ерошкина, Аиду – где теперь они, что с ними, – но усталость берет свое...

Сбрасываю с себя шинель. Над болотом туман. В белой пелене чернеют кусты и елки. Звенят комары. Прямо перед нами тускло вспыхивает ракета. Позади через правильные промежутки времени ухают разрывы мин.

Ровно в одиннадцать мы поднимаемся и идем к придорожному ельнику. Герасимов снова впереди, потом Иванов, за ним помкомполка и я. Мне приказано в случае необходимости прикрывать отход. Когда достигаем ориентира – густой одиночной елки, – взвизывает белая ракета. Мы падаем. Над головой с грохотом проносится пулеметная очередь. Слышно, как щелкают перебитые ветки. Едва ракета гаснет, делаем резкий бросок вперед и опять падаем. В этот момент правее, должно быть, у самой речки, раздается громовой залп винтовок. И сразу же в той стороне взлетает несколько осветительных ракет, начинают басовито стучать пулеметы.

Новый ружейный залп, очевидно, на прорыв идет еще одна наша группа. Ракеты гаснут. Прыгаем вперед. Мы уже в ельнике – впереди яркий свет, сбоку треск выстрелов, меня бьет по лицу колючая ветка, и я бросаюсь за товарищами в яркий свет.

Я всего на мгновение ощущаю под ногами бревенчатый настил, в следующее мгновение вновь попадаю в темноту. Я мчусь вперед, рядом раздаются гортанные выкрики, прерывистый стук автоматов, из-под земли, как из невидимого улья, выпархивают огненные пчелки трасирующих пуль. Я слышу удаляющееся хлюпанье – это бегут товарищи – и гром очередного залпа винтовок.

Сворачиваем к речке. Бежим по берегу. Сзади гремят выстрелы. Переходим на скорый шаг, опять бежим... Неужели нам удалось? Неужели прорвались?

Немцы продолжают навешивать ракеты и стрелять, но теперь они мало волнуют нас: это уже позади. Бежим еще с полчаса, наконец останавливаемся около большого черного дерева, рассаживаемся вокруг толстого ствола и здесь решаем ждать рассвета.

Как только между кронами деревьев проступает небо, мы снова трогаемся в путь.

Идем, как и раньше, гуськом: первый – Герасимов, я замыкающий. Лес еще хранит следы недавнего пребывания наших войск: пожелтевшие обрывки газет, пустые консервные банки, патронные гильзы, порожние лотки из-под мин. Пахнет гарью и чем-то сладковатым.

Неожиданно Герасимов останавливается.

– В чем дело? – спрашивает Иванов. Впереди лесная поляна. В центре ее большая, с рваными краями воронка. Деревья вокруг поломаны и обожжены. Под деревьями на земле – клочки искромсанных человеческих тел, засохшие окровавленные бинты, труп лошади с вывалившимися внутренностями, новенькая санитарная сумка с черным пятном посередине... У ног Герасимова в траве – круглая женская гребенка.

– Дальше! – приказывает Иванов.

Минуем поляну. День сидим в мелком овражке. Когда солнце поворачивает на запад, Иванов сам отправляется в разведку.

Возвращается хмурый.

– Ну, что, товарищ Иванов? – спрашивает помкомполка.

– Новое кольцо... Помкомполка бледнеет.

Вечером спускаемся к какой-то реке, доходим до опушки леса. Здесь опять топь, но теперь у нас в руках колья. Опираясь на них, ползем вдоль низкого берега, осыпаемые дрожащим светом ракет...

4

К утру мы достигаем густого сосняка, продираемся сквозь валежь и попадаем на тропу, скрывающуюся в чаще. На тропе кое-где заметны свежий конский навоз и врезы от подков. Вскоре нас останавливают наши спешившиеся кавалеристы, вооруженные карабинами.

Спускаемся в ложбину. Повсюду видны группки по пять-шесть стреноженных лошадей. Неподалеку прямо на голой земле спят бойцы – у них изнуренные, серые лица.

На дне балки около березового шалаша нас просят подождать. Появляется высокий, худощавый капитан с взлохмаченными волосами. Глаза его воспалены, он щурится, очевидно, его разбудили.

– Какие командиры? Откуда?

Помкомполка показывает свое удостоверение, и капитан – вероятно, командир кавалеристов – приглашает нас в шалаш.

Узнаем, что в лесу застряли два эскадрона кавполка, прикрывавшего отход наших войск с юго-запада. В день прорыва боевые порядки части были расчленены вражескими танками. Два эскадрона оказались отсеченными, отошли в этот лес и потом трижды пытались пробиться через большак к Нелидову. Минувшей ночью отряд понес особенно тяжелые потери. У них осталось по десятку патронов на бойца, кончился хлеб и фураж, не хватает воды и бинтов для перевязки раненых. Немцы в лес не суются, но и не выпускают – блокировали накрепко.

– Что думаете делать? – спрашивает Иванов.

– Прорубаться, – говорит капитан. – Просачиваться мы не умеем.

Ночью вместе с кавалеристами атакуем немцев. Нас встречают сильным пулметно-автоматным огнем. Четыре раза мы бросаемся на дорогу, четыре раза смывает нас обратно. Потеряв половину отряда убитыми и ранеными и израсходовав почти все патроны, мы отходим в лес.

Днем, подавленные, сидим в балке. В голове ворочаются безотрадные мысли... Что значит не умеем просачиваться? Не умеем выходить из окружения? А может, это не только я один ничего не умел, может, все мы в какой-то мере были не подготовлены к таким неприятным вещам, как вражеские котлы и наше вынужденное отступление?

В пятом часу мы, четверо, выбираемся на опушку, откуда пришли: по настоянию помкомполка мы решаем вновь действовать самостоятельно.

Еще светло, но мы ползем на вырубку. Здесь много сияющих березок, и ольх, и молодых ярких елок; очень много земляники – я срываю прямо губами спелые, душистые ягоды. Мы прячемся в высокой траве у кустов. Между нами и лесом на рысях проходит кавалерийский дозор немцев.

До наступления сумерек наблюдаем. Когда темнеет, осторожно ползем вперед и неожиданно оказываемся в центре вражеского расположения. Мы слышим голоса немцев, я разбираю их отдельные слова. Слева и справа коротко строчат автоматы. Ориентируясь по ним, продолжаем ползти.

К полуночи добираемся до большака, примерно на километр южнее того места, где мы пытались прорваться вместе с кавалеристами... Со стороны леса доносятся выстрелы. Взывают ракеты. Когда вспышки гаснут, мы, пригнувшись, перебегаем через дорогу. Мы падаем, прислушиваемся и несемся дальше. Кажется, все благополучно – нас не обстреляли. Может, теперь... просочились?

Снова шагаем через перелески, вырубки, поля. Мы очень спешим. Мы идем строго на северо-запад, выбирая самый короткий путь. За ночь нам надо дойти до Нелидовских лесов. Там фронт, и мы всеми силами – душевными и физическими – устремлены туда.

Под утро попадаем в полосу густого тумана. Возле какого-то ручья чуть не нарываемся на немцев. Опять слышим гортанные голоса, короткие автоматные очереди, опять прижимаемся к земле, обливаемые молочным светом ракет. Мы по одному переходим ручей и движемся в тумане дальше.

Очередной рассвет застает нас в небольшой березовой роще. До Нелидовского леса мы не дотянули. Приближаемся к западной опушке и видим просторный луг, который с юга окаймлен грядой мелкого ельника, смыкающегося в одном месте с нашим березняком. На севере за вытоптанном полем голубеет бор. Пройти туда сейчас, конечно, невозможно. Отступить тоже нельзя: позади открытая поляна и ручей – там немецкий заслон...

И вдруг со стороны ельника доносятся винтовочные выстрелы и короткие переговоры автоматов. Минутой позже на лугу показывается группа безоружных бойцов в разодранных гимнастерках, а за ними – цепь немецких автоматчиков. Наши – с поднятыми руками.

Я оглядываюсь на Иванова. Он кусает побелевшие губы. Гляжу на луг. Один из немцев быстрыми шагами подходит к группе, хватая за ворот высокого человека и отводит в сторону, ближе к нам. Теперь я вижу на рукаве высокого красную звезду политработника, а на плечах немца узенькие серебряные погоны. Немец неторопливо расстегивает кобуру.

– Товарищ Иванов, – шепчет помкомполка, – товарищ Иванов...

Я слышу хлопок револьверного выстрела – смотреть на это не могу.

– Маскируйтесь, – сухо приказывает Иванов.

Он и Герасимов ползут влево, помкомполка – вправо, я отползаю немного назад к кусту шиповника и прячусь в густой траве.

На лугу раздается мерный топот ног. Вероятно, автоматчики собираются прочесывать нашу рощу. Дикий страх овладевает мной.

Бежать некуда. Защищаться нечем: во время ночной атаки с кавалеристами у меня кончились патроны, вдобавок расклинило прямым попаданием магазин автомата; у меня остался только пистолет.

Что же делать?.. Мерный топот приближается. Ударяют первые очереди. Секунды нечеловеческого напряжения – что делать? Что?

Страшным усилием воли я ломаю себя («подавляю низменный инстинкт самосохранения», – мелькают где-то смешные слова; разве дело только в инстинкте?). Я ломаю в себе все – эту зеленую росистую траву, эту милую землю, на которой лежу, этот прозрачный, осиянный утренним солнцем воздух, то теплое, свое, единственно мне принадлежащее, которое называется моей жизнью... Я решаю застрелиться.

Я оттягиваю курок. Засовываю пилотку под ремень. Нет, не сразу – застрелиться, я еще убью первого, ближнего ко мне немца.

Да, убью, убью сперва его, а потом себя...

Где же страх?

Я просто приложу пистолет к виску и нажму на спуск. Очень просто. Боли я не почувствую – быстро. Я умру?

Нет, не умру. Мне становится яснее ясного, что я не умру: я останусь тут – в этом воздухе, в этих листьях, в этом щебете птиц. Мне спокойно и даже несколько удивительно, что я поначалу так испугался...

Топот ног – вот он! Над головой секущий удар пуль. Немецкие жесткие сапоги рядом, можно схватить рукой. Сапоги – мимо...

Я встаю. Я вижу розовые затылки. Немцы, сукины дети, шагают в ногу, рукава закатаны до локтей, автоматы у бедра... Я иду вслед за ними по примятой траве, держа пистолет наго-

тове, чтобы выстрелить в первого оглянувшегося, а затем в себя. Мне нисколько не страшно, потому что знаю: я все равно не умру.

Они, грохоча короткими очередями, удаляются. Я останавливаюсь... В следующую секунду, согнувшись, я бегу по опушке к ельнику. Я бегу изо всех сил и слышу позади жалобный вскрик – однажды я слышал, так, по-человечески, вскрикнул смертельно раненный кролик... Мне опять делается жутко.

...Я уже в ельнике. Я один. А что я могу один? Что человек может один?

– Иванов! – кричу я. Молчание. Тишина.

– Иванов...

Между зеленых колючих лап появляется белое лицо Иванова.

– Тихо... Убью!

Все равно: я счастлив, что Иванов нашелся, что он здесь.

Появляется и Герасимов, он тяжело дышит, на щеке кровь. Нету лишь помкомполка... Обессиленные, мы садимся на землю.

5

Мы шагаем снова на юг. Нас теперь трое. Иванов предлагает попытаться обойти город Белый с юга и потом двигаться лесами западнее его, Белого... Мы понимаем, что достигнуть линии фронта кратчайшим путем немислимо: на этом пути сосредоточены главные немецкие силы, воюющие с окруженцами.

Идем днем: немцы в лес по-прежнему не суются. Ночью, как правило, спим, замаскировавшись в кустах; нас нередко будят близкие пулеметные и автоматные очереди. По временам, когда надо переходить дороги, мы соединяемся с другими мелкими группами – нас порой набирается до ста человек, – и тогда мы все вместе опрокидываем небольшие вражеские заслоны, а потом опять разъединяемся: такая тактика оправдывает себя...

Несколько дней спустя мы, пробуем прорваться через большак южнее Белого. В ночном бою немцы легко разбивают наш летучий отряд: здесь, неподалеку от города, вновь крупные вражеские силы... Утром, отступая, мы, трое, забредаем в лесной хуторок. Жители его настолько напуганы, что прячутся даже от нас; лишь один хмурый старик на костыле выносит нам миску холодной картошки. К сожалению, он не может посоветовать, в какую сторону нам лучше направиться: их, гражданских, тоже не выпускают из леса; где сейчас немцев больше, где меньше, никто в точности не знает.

– А ты бы оставил этого парня у нас, – вдруг говорит старик Иванову, ткнув в мою грудь скрюченным пальцем. – Будет потише, тогда и возвратится.

Иванов измученно смотрит на меня.

– Мы справим ему одежку, – добавляет старик. – Еще молодой, сойдет за сына.

– Может, имеет смысл? – спрашивает Иванов.

– Я против.

Поворачиваем опять на север. На этот раз идем в сторону Оленино. Иванов считает, что нам теперь выгоднее держаться открытых мест, днем в оврагах отдыхать, а ночами продвигаться по полям к железнодорожной линии Ржев – Великие Луки. Не доходя до нее, мы свернем влево и постараемся перейти фронт восточнее Нелидово...

19 июля вечером мы наконец проникаем в лес, за которым, по нашим расчетам, должна находиться передовая. Наше предположение оправдывается. Мы слышим выстрелы немецких пушек, стоящих в этом лесу, ровный, сильный стук наших пулеметов впереди. Сердце окрыляется радостью, мы в каком-то полузабытии идем прямо на звук пулеметных очередей.

Лес разрежается, светлеет – близко опушка. Мы тщательно маскируемся в кустарнике у самой кромки леса на взгорье и принимаемся наблюдать за дорогой внизу. Слева виден

небольшой деревянный мост, там немцы-часовые. Справа доносятся громкие голоса, потом показываются солдаты с котелками: вероятно, получают ужин...

А наши пулеметы все шлюют и шлюют сюда короткие сильные очереди. Они – как привет Родины, они ободряют нас. Бухают немецкие пушки – теперь вражеские батареи позади.

Садится солнце. Мы лежим, не сводя глаз с дороги. Начинает смеркаться. Выплывает луна. Мы лежим. Поднимается туман, луна исчезает.

– Два часа, – шепчет Иванов. – Ну!..

Держа оружие наготове, медленно спускаемся к дороге. Мы идем кучкой: в промозглой тьме нас трудно отличить от кустов. Замираем, слушаем и вновь осторожно движемся.

Главное, перебраться через дорогу. За ней большой лес, и в нем наше спасение, там свои.

Дорога едва белеет впереди. Быстро, по одному, перебегаем. Все тихо, все спокойно. Лишь сердце стучит, как молот, до перехвата дыхания... Теперь в лес, к своим, там спасение!..

Грохочет огонь – длинное красное пламя. Я никогда не думал, что огонь может так бить. Земля вдруг переворачивается, громоздится стеной и придавливает меня всей своей невыносимой удушливой тяжестью.

Неволя

Глава шестая

1

Убит. Я думаю, что я убит. Но если я думаю об этом, то значит – не убит? Я живой?.. Вокруг меня черная стенка, сверху дышащее холодом мглистое пятно и блуждающий красный огонек... Что это?

Я приподнимаю голову – она словно набита острыми камнями и ноет в затылке. Я вижу возле себя серые неподвижные кули.

– Иванов!

Меня кто-то дергает за ногу.

– Иванов, Иванов!..

Красный огонек наверху останавливается. Один из кулей протягивает ко мне руку, затем поблизости возникает смутный овал лица.

– Иванов, это ты?

– Ш-ш! – Холодная рука ложится на мою и быстро шершаво поглаживает.

Ничего не пойму. Где мы?.. Кружится голова, поташнивает, я снова закрываю глаза.

Опять дергают за ногу... Уже светло. Надо мной мутно-голубое небо и в середине его... немецкий солдат с винтовкой.

Я в яме.

– Вставай, – откуда-то издали доносится глухой голос Иванова, хотя он рядом.

Немец с винтовкой склоняется над нами. Его зеленоватое лицо чуть расплывается и дрожит, как кисель. Он что-то говорит, напряженно раскрывая рот.

Плен!.. Я соображаю: мы в плену. Плен! Я – и вдруг плен. Как это может быть?..

Иванов помогает мне встать. Он распоясан, безоружен, оборван. Герасимов подсаживает меня на край ямы и вылезает сам – он в шинели без хлястика и тоже безоружен. И я распоясан и безоружен. Из ямы выбирается еще кто-то.

Все кругом дрожит, расплывается, и как-то непривычно тихо: я слышу лишь шумы и шорохи. И у меня очень болит голова...

Нас гонят на дорогу. Там уже большая толпа таких же, как мы, распоясанных. Немцы с винтовками суетятся вокруг и что-то кричат, широко раскрывая рот. Мы становимся в ряд – нас в ряду пятеро. Трогаемся. Справа виднеется взгорье, покрытое кустарником, слева – угол лесного массива, а впереди – пыльная белая дорога и стоптанные башмаки шагающих людей...

Мир шатается, мир покачивается. Начинает пригревать солнце – неужели это то солнце? Неужели это те же поля, которые были вчера? И неужели я, это болящее бредущее существо, – это я?

Все рушится, все переворачивается. Случилось самое страшное, что только могло с нами случиться: плен. Или, может быть, вообще мы разбиты, и немцы победоносно катятся в глубь нашей страны?..

Завивают пыль белые стоптанные башмаки. Светит бессмысленное солнце – бездушный горячий шар. Зеленеет пыльная трава, туманятся дали.

Плен, плен, плен...

Если бы я мог плакать, я плакал бы... Почему я не убит? Почему не умер дома, когда болел воспалением легких? Почему, за что этот позор?



Если бы я мог плакать... Но сухо и туманно в глазах, расплываются дали, и беспощадно жарит ноющую голову пустое холодное солнце.

Нас приводят на незнакомую станцию и загоняют за колючую ограду. Тут какой-то табор: сотни людей в распушенных шинелях и гимнастерках стоят, сидят, лежат на земле или слоняются взад и вперед. По углам заграждения деревянные вышки с часовыми, у одной колючей стены серое строение с кирпичной трубой – оно отделено от толпы тоже забором из колючей проволоки, у противоположной стены – два барака.

Ноги подкашиваются от усталости, я сажусь.

– Пошли в тень! – кричит-шепчет Иванов.

С трудом поднимаюсь и бреду за ним к бараку. В тени все места заняты, но Герасимов что-то говорит, и сидящие подвигаются.

Иванов усаживает меня на теплую землю, прислоняет спиной к дощатой стенке.

– Попить, пить... нет? – спрашиваю я. Герасимов, кивнув, уходит. Иванов смотрит в мои глаза, и мне становится не по себе оттого, как он на меня смотрит.

– Небольшая контузия, – шепчет-кричит он. – Ничего. Пройдет.

– Пройдет, – говорю я.

Он пробует улыбнуться. Милый мой Иванов, что же с нами случилось?!

Мне тяжело видеть тоску в его глазах, его выпачканное глиной лицо, рыжую щетину на щеках. Он еще пытается ободрить меня!..

Возвращается Герасимов. С водой. Она теплая, горьковатая, отдает железом. Я отпиваю несколько глотков и гляжу на Иванова.

– Пей, пей, – произносят его запекшиеся губы. Гляжу на Герасимова.

– Пей, – отворачиваясь, шепчет он.

Протягиваю ему котелок с остатком воды и, упершись затылком в доску, закрываю глаза. Голова идет кругом, кругом идет вместе со мной земля...

Плен, плен, плен...

2

Вот он, плен... Растворяется калитка в колючем заборе, огораживающем серое строение с трубой, и сотни людей, давя друг друга, устремляются к дымящимся деревянным ушатам.

Наперерез толпе бросается человек в желтой форме. С какой-то веселой неистовостью он начинает бить толстой палкой по головам. Он бьет во всю силу, со всего размаха, он кричит и хохочет при этом. Я вижу, как падают под его ударами люди; я первый раз в жизни вижу, как бьют взрослых людей.

Опять делается не по себе. Слабеют ноги, и вместе с тем что-то темное и яростное вздымается во мне. Если бы у меня сохранился пистолет, то я сейчас пристрелил бы этого человека в желтом. Я пристрелил бы его совершенно спокойно, как стреляют взбесившихся животных!

И все-таки глядеть не могу... Бьют! Бьют взрослых людей, вчерашних бойцов и командиров Красной Армии!.. Что же будет-то в конце концов?..

Пленные разбредаются от ушатов, держа котелки и консервные банки, на дне которых – серая бурда. Показываются Иванов и Герасимов с такой же бурдой. Внезапно я ощущаю сильный голод.

– Дай... котелок, – прошу у Иванова.

– Тебя раздавят, не ходи, – шепчет он.

– Дай!

– Мы поделимся с тобой, – шепчет Герасимов.

У него ввалившиеся глаза, щеки запали... Мы голодаем уже много дней, но на воле было легче: там была надежда, здесь нет надежды. И товарищи не должны страдать еще и из-за меня.

Герасимов одалживает у соседа пустую банку и направляется вместе со мной в толкучку. Толпа мало-помалу редет. Недалеко от ушатов топчутся пленные и голодными острыми глазами наблюдают за раздачей. Мне вплескивают в банку бурды, а желтый изверг ставит на моей ладони химическим карандашом крест. Такие же фиолетовые кресты на ладонях других пленных, получивших свою порцию.

Теплая серая жидкость пахнет молотыми костями и поскрипывает на зубах. Я выпиваю ее, как и все, не прибегая к помощи ложки. После еды тут же, сидя у барака, засыпаю...

Просыпаюсь оттого, что солнце бьет прямо в глаза. Рядом дремлет Герасимов. Иванова нет. Наши соседи по одному перебираются в тень на другую сторону барака. У меня разламывается от боли голова, но вижу как будто отчетливее.

– Герасимов, Герасимов!.. – Он открывает глаза.

– Где Иванов? – спрашиваю я, радуясь тому, что я, кажется, и слышу получше.

– Он скоро вернется, – отвечает Герасимов.

Да, лучше. Я слышу уже не шепот, а голос, хотя и с шумами.

– У меня немного отлегло от ушей, – говорю я.

– Он ушел к санитару.

– Мне полегче.

– Там есть места для раненых, в бараке... Ты не говори, что полегче, может, тебя туда положат.

Но мне на самом деле лучше. Я рассматриваю Герасимова, ощупываю себя – карманы пусты, часов на руке нет.

– Как все было с нами?

Приходит Иванов. Утирает грязное лицо рукавом, садится.

– Стервецы, – глухо произносит он. – Что стало с людьми?

– Мне получше.

Иванов обнимает меня за плечо. Его губы дрожат.

– Только раненых, контуженых не берут... А если у тебя будет припадок?

– Ничего со мной не будет... Как нас взяли?

Иванов горько усмехается.

– Наскочили на засаду. И все... Я кое-что узнал, – быстро прибавляет он и поворачивается ко мне. – Ты меня хорошо слышишь?.. Мы в Оленино, в пересыльном лагере. Пленные все прибывают. Дня через два нас отправят куда-то дальше. Давайте держаться вместе и, если представится случай... Понятно?

– Ясно, – говорит Герасимов.

Мне тоже ясно, что Иванов имеет в виду: мы попытаемся бежать.

- Только бы не ослабеть от голода, и чтобы ты... окреп, – говорит Иванов мне.
- Я постараюсь.
- Давайте походим, оглядимся, – предлагает он. Мы встаем и принимаемся тихонько бродить.
- А что же на фронте? – спрашиваю я.
- Тс-с! – Иванов прикладывает палец к губам. Из кухонной калитки выползает изувер в желтой форме. На его белой нарукавной повязке какие-то немецкие буквы – какие, я издали не вижу.
- Полицай, – тихо говорит Иванов. – Изменник. На полицае сверкающие хромовые сапоги, физиономия красная и веселая.
- Давайте от греха подальше, – говорит Герасимов.
- Однако полицай уже увидел нас. Подходит, щупает, суча пальцами, материал моей гимнастерки.
- Скидывай!
- Почему это?..
- Он контужен, оставьте его, – говорит Иванов.
- Скидывай, дура, – настаивает полицай. – Я тебе хлеба дам... контуженый! Откуда он взялся – такой? Где он жил?..
- Ничего не поделаешь, снимаю с себя диагональную гимнастерку с двумя памятливыми дырочками на рукаве: следом входа и выхода пули. Я специально не зашивал их, думал, когда-нибудь покажу маме.
- Полицай довольно хмыкает, бросает мне кусок хлеба, потом орет:
- Эй... эй, санитартер!
- Подбегает худой желтолицый пленный.
- Раздобудь этому воробью что-нибудь взамен. У тебя сегодня готовые есть?
- Трое сегодня после обеда...
- Так вот одень его, я тебе приказываю.
- Есть!
- Не «есть», а «яволь» надо отвечать, деревенщина!
- Полицай сворачивает мою гимнастерку и, посвистывая, уходит. Неожиданно я замечаю, что у нас нет знаков различия. И на моей гимнастерке, кажется, не было, хотя я сам не снимал своих треугольников... Вероятно, содрали немцы.
- Санитар приносит мне вылинявшую красноармейскую гимнастерку.
- Может быть, все же возьмете его на пару дней? – говорит ему Иванов про меня. – Хоть на ночь...
- Ладно, приходите на ночь вместе... Часов, случаем, не сберегли?
- Нет.
- Ладно, ребята, приходите, переночевать устрою. Мы возвращаемся к бараку, садимся и делим хлеб. Я рад, что могу поделиться с товарищами хлебом. Только мы, пожалуй, очень уж долго и тщательно его делим.

3

- Солнце опять в зените. Жарко, душно.
- Перед строем пленных прохаживается длинноногий немецкий лейтенант, за ним, как хвостик, – переводчик, юркий человек с помятым лицом. По бокам строя – полицай с палками.
- Итак, политруков, коммунистов и евреев среди вас нет?.. Господин комендант спрашивает еще раз – нет? – тонким голосом выкрикивает переводчик.
- Мы молчим.

– Хорошо, – вслед за лейтенантом произносит переводчик и разворачивает какую-то бумагу. – Офицеры от младшего лейтенанта и выше... два шага вперед!

– Придется... у них все мои документы, – хмуро бормочет Иванов.

– Ну?... В противном случае буду вызывать поименно, и тогда пеняйте на себя.

Из строя, поколебавшись, выходит человек десять.

– До свидания, ребята, может, еще встретимся, – говорит Иванов и делает два шага вперед.

– Еще есть? – спрашивает переводчик. Строй молчит.

– Офицеры... марш!

Группа наших командиров вразнобой шагает к лагерным воротам. В последний раз вижу в профиль лицо Иванова... До свидания, верный товарищ, до свидания, а может, прощай!..

Через полчаса нам выдают по пол-литра костяной бурды и вновь приказывают построиться. На запасный путь к лагерю подъезжает состав. За воротами цепью выстраиваются конвоиры. Подгоняемые криками и руганью, мы погружаемся в товарные вагоны.

...Ржевский лагерь для военнопленных, куда нас привозят в тот же день, мало чем отличается от оленинского. Он тоже рядом со станцией. В нем такая же вытопанная серая земля. Такие же серые дощатые бараки. Такие же толпы бессмысленно слоняющихся голодных людей. Такие же желтые изверги-полицаи. Правда, здесь значительно больше и барачков, и пленных, и полицаяв. Бараки переполнены. Первую ночь мы с Герасимовым проводим на земляном полу у двери. Спим, согревая друг друга своими тощими телами. Утром получаем по маленькому черпаку суррогатного кофе, в обед – по пол-литра темной, неведомо из чего приготовленной похлебки, вечером – по куску серого колючего хлеба.

Голод все растет, и через два дня, узнав, что на станцию водят пленных разгружать составы, Герасимов в надежде раздобыть что-нибудь из съестного подстраивается к рабочей команде. Больше я не встречаю его. Я остаюсь один – совершенно один в чужом страшном лагере. Я не узнаю людей. Они ли это, бойцы нашей армии, гнавшие врага с родной земли? Они ли это, бросавшиеся под пулеметный ливень на церковную ограду Сычевки? Они ли это, наши советские люди?..

Все чаще попадают до предела ослабевшие, опустившиеся пленные. Здесь их называют доходягами. Они никогда не снимают с себя шинелей, никогда не умываются, на голове у них как печальный отличительный знак – пилотка с отогнутыми на уши краями. В земляно-черных пальцах они постоянно держат котелок или банку и тихо блуждают по лагерю, высматривая что-то. У большинства из них уже ненормальные глаза: в них светится какой-то хитроватый, безумный огонек.

Раз я вижу, как один доходяга, заметив в яме возле кухни комочек сырого мяса, хватается его и, дрожа, бросается к лужице дождевой воды. Ополоснув его, сует в рот. В другой раз двое доходяг кидаются на дорогу за окурком.

Голод!.. Я не знал, что это такая ужасная сила – голод...

В конце июля в жаркий солнечный вечер на железнодорожных путях неподалеку от нас начинают рваться тяжелые снаряды. Они с шуршанием пролетают над лагерем, они летят с северо-востока... Значит, мы существуем? Значит, гибель наших окруженных соединений – это еще не гибель армии?

Радость наполняет меня. Я вижу радость в глазах и других пленных... Нет, мы не разбиты! Мы живы. Мы воюем...

Шелестит невидимый снаряд... Взрыв! Это вам, фашистские мучители! Новый взрыв!

Коротко свистит снаряд. Звонкий грохот раздается возле одного из барачков... Это похоже, уже нам... Но пусть стреляют ребята, пусть по ошибке достается и своим. Лишь бы били, лишь бы не останавливались!..

Я, как мальчишка, реву навзрыд. Я кулаком растираю слезы... А кто же я, в сущности, есть? Большинство моих ровесников учится еще в школе. И я мог бы учиться. Я мог бы еще целый год ждать, пока меня призовут. И тогда со мной, конечно, не случилось бы этого...

Умолкает грохот разрывов на станции, и в светлом небе над городом появляются наши верткие «ястребки». Они стреляют из пулеметов и сбрасывают листовки, они с могучим рокотом проносятся низко над крышами домов и взмывают кверху, они нагоняют страх на немцев, сеют среди полицейских панику...

Ведь вот они, наши! Они ведь совсем близко! Стреляйте, стреляйте, дорогие летчики, стреляйте, бейте их крепче!..

...В лагерь врывается охрана. Немцы в касках, с винтовками и автоматами. И отряд полицейских.

– Antreten! – орут немцы.

– Строиться! – орут полицейские.

Раскрываются основные и запасные ворота. Пыхтя, подкатывает паровоз, он тянет за собой вереницу красноватых вагонов.

Нас собираются вывозить отсюда, соображаю я.

Убегаю в барак. Тут уже орут полицейские, выгоняя пленных. Я ныряю под нижние нары, забиваюсь в самый темный угол... Если наши придут, то я буду свободен. Я снова возьму в руки оружие. Нет, я уже не мальчишка. Я снова буду драться. Я еще не так буду с ними драться!

В лагере шум, крики, зычные немецкие команды. В бараке все стихает.

Я очень радуюсь, я ликую: я спрятался, и меня освободят!

И вдруг я слышу топот кованых сапог, громкие голоса, потом противное поскрипывание фонарика-жучка. Луч света скользит по земляному полу, упирается в меня...

– Raus (Вон)! – кричит немец.

Если я не вылезу, он, конечно, выстрелит... Выползаю. Встаю, держась обеими руками за живот.

– Ага, сбежать хотел! – кричит полицейский. – Мы тебя проучим, мы тебя сейчас расстреляем перед строем, чтобы другим было неповадно!..

Ударом сапога он выбрасывает меня в открытую дверь.

– Herr Soldat, ich bin nur krank (Господин солдат, я только больной), – приподнимаясь на корточки, говорю я немцу.

– Was (Что)?! – Немец переглядывается с полицейским.

Я кидаюсь в толпу. Работая локтями и головой, углубляюсь все дальше, и меня затягивает, засасывает, скрывает от глаз охранников людской водоворот.

4

Нас везут без остановки целую ночь. Вначале мы еще слышим гул оружейной канонады и еще надеемся, что нас успеют освободить. Но потом звуки разрывов слабеют, и мы слышим лишь стук колес да по временам тревожный рев паровоза.

Стоим всю ночь напролет. Сесть нельзя: нет места. Стоим друг к другу так плотно, что можно даже спать – не упадешь. От двери распространяется зловоние: там параша. Хочется пить. Духота. Мучают вши. Дважды мне делается плохо, дважды я прощаюсь с жизнью и опять воскресаю. Находятся добрые люди – проталкивают меня к окошку. Запрокинув голову, я глотаю капли свежего ночного воздуха.

Ранним утром поезд останавливается на глухом полустанке. Я подтягиваюсь на руках, выглядываю в окошко. Блеклое небо, желтовато-серая насыпь, за ней в десятке метров – кусты...

У вагона – пожилой конвоир с винтовкой... А что, если еще раз попытать счастья?

– Господин часовой, – обращаюсь я к нему по-немецки. – Мы здесь умираем от духоты и жажды... Пожалуйста, разрешите мне на минуту вылезти из вагона, чтобы... – Я не могу сразу вспомнить нужного немецкого выражения, наконец нахожу: – Um auszutreten (оправиться).

Ничего более остроумного в голову не приходит.

Старик конвоир пялит на меня изумленные глаза: замызганный русский пленный – и вдруг немецкий литературный язык...

– А-а! – Немец, махнув рукой, отворачивается.

– Помогите, – прошу я своих.

Меня подталкивают снизу, я просовываю в окошко голову, затем, сжав плечи, наискосок протискиваюсь в узкий оконный проем, цепляюсь за обшивку, за угол вагона – недаром я когда-то занимался акробатикой, – спрыгиваю на насыпь...

– Хальт! – раздается от соседнего вагона.

Мигом оборачиваюсь – передо мной настороженные щелки глаз другого часового, молодого верзила, и дуло вскинутой винтовки... Что делать?

– Я попросил разрешения у вашего коллеги оправиться, – по-немецки объясняю я верзиле, – но если это запрещено...

– Да, да, запрещено, – растерянно подтверждает старик.

– Ауф! – кричит верзила, и я понимаю, что он приказывает мне лезть обратно в вагон.

И я понимаю, что еще две-три секунды – и он прикончит меня на месте.

Откуда-то берутся новые силы: я вскарабкиваюсь на буфер, хватаюсь за угол окна, подтягиваюсь, товарищи втаскивают меня за руки и плечи – сзади ударяет выстрел. Вероятно, для острастки. Ну, это еще не самое худшее!..

Опять стоим, покачиваясь в такт движению вагона. Нас одолевают вши. Тело от их укусов горит. Железная крыша вагона накаляется от солнца. Мы обливаемся потом, задыхаемся.

Ровно в полдень пунктуальные конвоиры выдают нам суп. Позволяют вынести из вагона парашу. Заодно выносят трех умерших. Поезд стоит минут двадцать, и вновь начинается пытка: вши, духота, боль в затылке и в ногах...

Выгружаемся в Смоленске. Строимся в колонну и плетемся вверх по улице. По бокам – груды кирпича, щебня, обожженное, искореженное железо. Входим в лагерь... Может, удастся сбежать отсюда?..

Умяв вечерний «порцион» – двести граммов жесткого, с опилками хлеба, – принимаюсь осматривать лагерь. На углах его стандартные деревянные вышки с часовыми. За рядами колючей проволоки патрулируют солдаты... Днем тут не проскочишь. А ночью?

Заставляю себя проснуться в полночь. Беспшумно слезаю с нар. Дверь барака заперта снаружи. Через щель вижу, что лагерь ярко освещен. Слышится разноголосое скуление и тьяканье псов...

Возвращаюсь на нары. Подтягиваю колени под подбородок. Маленькой холодной змеей вползает в душу отчаяние...

«Выдержка и терпение, – говорю я себе. – Не горячиться. Не отчаиваться...»

Настает новый день. Получаем кофе. Есть хочется еще больше. У ворот выстраиваются рабочие команды. Может, попробовать, как Герасимов?

– Пошел прочь, заморыш! – Полицай замахивается на меня.

Голод сосет, голод мутит... Неужели нельзя ничего придумать? Неужели я тоже превращаюсь в доходягу?

Бреду к колючей проволоке. По другую сторону ее стоит пышущий здоровьем немец с винтовкой. Его щеки лоснятся на солнце. Он невероятно широкий, плотный, грудь, плечи, ноги огромны. Очень сытый, по-видимому.

– Haben Sie Brot (У вас есть хлеб?)? – спрашиваю я.

– Warum (Здесь: «А в чем дело?»)? – говорит он.

– Я очень хочу есть.

– Вот как (So)! – Немец улыбается. – Однако ты оригинал...

«Был, наверно», – думаю я.

– Там живет комендант лагеря? – помолчав, снова спрашиваю я, чтобы продлить разговор, и киваю на одно из целых зданий за проволокой.

– Нет, юноша, там бордель. Тебя женщины еще интересуют? – Немец густо хохочет. Румяные щеки-яблочки прыгают.

– Глупое животное, – говорю я ему. Немец пуще хохочет.

– Ты, тень, – говорит он. – Хочешь сигарету?

– Не курю.

– Тем лучше для тебя, бедный несчастный идиот... Сгинь! – Он выпучивает глаза и хватается за винтовку.

Я поспешно ретируюсь. Немец просто подыхает со смеху.

Ночью снова душит отчаяние. После ухода Иванова и исчезновения Герасимова у меня нет больше близких товарищей. Люди пугают меня хмурой замкнутостью, ожесточением, видимым безразличием ко всему, кроме еды. Я понимаю, что сейчас силы каждого направлены лишь на то, чтобы не свалиться от голода и не умереть. Но ведь какое-то сочувствие к другим должно оставаться у нас, если мы люди?..

И я впервые задаюсь вопросом: что же это за существо – человек? Неужели голод заставит забыть о своем достоинстве, о наших убеждениях? Неужели в основе своей мы всего-навсего жалкие животные?

Все во мне протестует против такого вывода. На фронте я не раз видел, как люди сознательно рискуют жизнью во имя Родины. Многие человеческие слабости и недостатки не исключают проявления героизма, который, очевидно, всегда – порыв любви... Так что же сильнее в человеке – эгоистическое, животное начало или заложенное в нас семьей, обществом чувство любви, совести, чести нашей?..

Утром я гляжу на сторожевые вышки, на руины Смоленска – я прикрываю глаза и вижу свой дом. Милая мама, если бы ты знала, как мне трудно сейчас!

Глава седьмая

1

Тускло светит солнце. Посреди лагерной площади за столиком сидит плоский, будто вырезанный из фанеры, немец-переводчик, рядом с ним – писарь-пленный. Они регистрируют наших командиров, которые должны направляться в специальные лагеря для офицерского состава. По словам переводчика, военнопленные офицеры получают там приличный паек, их не принуждают к тяжелому физическому труду, им гарантируется особое обращение в соответствии с правилами офицерской чести...

Переводчик, приподняв над головой фуражку, вытирает синим платком лысый лоб. Я подхожу к столику.

– Запишите меня.

– Ты есть офицер?

– Да.

– Чин?

– Техник-интендант второго ранга... Можно просто лейтенант.

Переводчик недоверчиво смотрит на меня.

– Какой военной должности?

– Заведующий делопроизводством штаба дивизии.

– О, штаб дивизии?.. Сколько имеешь лет?

– Двадцать.

– Коммунист?

– Нет.

– Иметь в виду, мы будем проверять. Если ты лгал, запираем в карцер. – Он протягивает мне сухой птичьей лапкой какой-то жетон. – Первый барак, шtube два.

Я поворачиваюсь и иду к ближайшему от ворот бараку... Расчет мой прост: записавшись в офицеры, я, может быть, встречу знакомых из своей дивизии, возможно, даже Иванова; я сохраню остаток сил и тогда при первом удобном случае вместе с товарищами сбегу. Я все равно сбегу из лагеря – в этом я уверен. Что до моральной стороны дела, то сейчас она мало заботит меня: во-первых, я обманываю врага, а, во-вторых, по занимаемой должности я и был лейтенантом...

В офицерском бараке сравнительно чисто. Дощатые полы и нары вымыты, есть даже стол. На нарах лежат люди. Одеты они почти так же, как и остальные пленные, только побриты.

Я нахожу на нарах свободное место, ложусь. Думаю, что неплохо бы и мне побриться. Правда, темный пушок над верхней губой и на подбородке, наверно, делает меня с виду старше, но раз здесь все бреются, то, вероятно, и я должен.

– А где же ваши вещи?

На меня глядят внимательные, очень усталые глаза.

– Какие вещи?

– Ну, шинель, котелок хотя бы... – У соседа пергаментное лицо, длинное, но приятное.

Ему, видимо, уже под пятьдесят.

– У меня ничего нет, – отвечаю я. – Все разбомбило.

– Трудненько вам так... Вас из-под Ржева сюда?

– Из самого Ржева. А вас?

– Я был до этого в Сычевке.

Мы знакомимся. Я узнаю, что капитан Носов – артиллерист, заместитель командира дивизиона, что он ранен в ногу, к счастью, не тяжело; он москвич, по гражданской профессии – архитектор, в далеком прошлом – подпоручик: ему пришлось воевать с немцами еще в ту войну. У него здесь тоже нет близких знакомых и никого из сослуживцев, так что, если я не против, мы можем держаться вместе.

Я с большой радостью принимаю предложение Носова.

После обеда, пристроившись на завалинке барака, мы долго обсуждаем причины нашей неудачи под Ржевом. Конечно, немцам удалось создать огромный перевес в силах, особенно в танках и авиации. Но, как полагает Носов, если бы нам дали приказ на выход из окружения неделей раньше, когда еще существовал коридор, то всей этой трагедии не произошло бы. По мнению Носова, в Ржевском котле мы потеряли несколько дивизий. Это страшно.

– Я иногда имею возможность просматривать вырезки из немецких газет, – говорит он, – мне тайком приносит один писарь-москвич... Так ежели верить их сводкам, они продвигаются уже к Волге, обходя Москву с юга... Страшно, страшно!

Вскоре Носов, прихрамывая, отправляется в санчасть. Я захожу в барак.

За столом сидят трое. Невысокий лупоглазый пленный сечет воздух раскрытой ладонью.

– И правильно! Давить их надо. Загубили Россию. Разорили. Зимогоры!

Короткопалая пятерня поднимается и опускается после каждой фразы.

Я забираюсь на нары и оттуда наблюдаю за спорящими.

– Ты, Николай, зря шумишь, – говорит один из сидящих, хмурый и длинный. – Что мы знаем? Ничего не знаем.

– А по мне, – басит третий, с распухшим лицом, – попала птаха в дерьмо – не чиликай.

– То есть как это не знаем? – Лупоглазый от злости бледнеет. – А какие же тебе нужны еще особые знания?

– Ну, в масштабах-то государства. Не везде же было так.

– Везде, везде, везде! – опять сечет воздух пятерня.

– Ты что, посажен был? – интересуется распухший.

– Я – нет.

– А я был, восемь месяцев под следствием находился. Всего повидал и испытал, туды твою мать. У меня поболее твоего оснований для обид. Понятно тебе? – басит распухший. – Но я русский. Русский – разумеешь ты это или нет?

– А я не русский?

Хмурый еще сильнее хмурится.

– Ничегошеньки мы не знаем, Николай. Решительно ничего!

– А ну вас! – Лупоглазый с шумом встает. – Поглядим, что вы запоете через месяц, когда германская армия дойдет до Урала.

Хмурый и распухший умолкают и будто сжимаются.

– Эх, шкура! – бормочет рядом со мной человек с худым, суровым лицом. Он, кажется, бывший комбат, старший лейтенант.

Дня через два Носов украдкой показывает мне немецкую сводку. «Верховное командование („Das Oberkommando“) сообщает...» – читаю я первые слова, отпечатанные жирным шрифтом.

В это время к нам быстро подходит Николай.

– Что они пишут? – В меня вперяются пустые, оловянные глаза. – Ты знаешь немецкий?

– А что тебе надо?

– Вот дурак! – Лупоглазый мотает головой. – Кабы я знал язык, я бы часа не пробыл тут, за проволокой.

Мне хочется съездить ему по морде, но Носов придерживает меня за рукав.

2

Снова везут. Жара, духота. Вагонное оконце оплетено колючкой. Мы сидим и лежим на подпрыгивающем полу, дремлем, чешемся, ругаемся, слушаем, как грохочут сапогами конвоиры, перебегающие по крыше с вагона на вагон, вновь дремлем – и вот Борисов...

Перед входом в лагерь нас встречает комендант, полный, с мягкими округлыми движениями гауптман.

– Мне нужен переводчик... Кто из вас понимает по-немецки?

– А вот, вот у нас есть, молоденький, вот. – Николай суетливо, с заискивающей улыбкой показывает на меня. Вопрос коменданта, заданный по-немецки, он уразумел, а ответить, беда, может только по-русски. – Вот, этот вот, молоденький...

Комендант, розовый, благоухающий, приближается ко мне.

– Вы говорите по-немецки?

– Очень плохо (*sehr schlecht*).

– Вы понимаете то, что я вас сейчас спрашиваю?

– Да.

– Желаете быть моим переводчиком?

– Нет... Я плохо владею языком.

– Но вы понимаете мои вопросы?

– Понимаю.

– Почему же в таком случае вы не хотите быть переводчиком?... Странно! – Комендант, не снимая перчатки, достает батистовый платок и прикладывает его к зардевшейся щеке.

– Что за болван! – вполголоса возмущается лупоглазый, косясь на меня. Он чуть не стонет с досады.

Нас вводят в ворота и ведут к кирпичному барaku, похожему на гараж. Тут нас поджидает группа людей в желтой форме и один немец, черноусый в очках, с унтер-офицерскими погонами.

– Все командиры? – спрашивает он по-русски.

– Все, – отвечаем мы.

Унтер-офицер раскрывает папку для бумаг и перекликает нас по званиям и фамилиям. Нас двадцать девять, почти все младшие лейтенанты и лейтенанты. Старших – трое. Капитан один – Носов.

– Вы будете старостой группы, – приказывает ему унтер.

Гараж разделен перегородками на несколько отделений. Мы размещаемся в последнем, у входа. Немного погодя Носова вызывают к начальнику лагерной полиции. Я потихоньку выхожу вслед за Носовым.

Снаружи у двери стоит мрачноватый, уже в годах человек с тяжелым, давящим взглядом.

– Капитан Носов?

– Так точно...

Разговора их я не слышу, хотя и напрягаю слух, прохаживаясь за углом. Когда минут через десять начальник полиции удаляется, Носов сам подходит ко мне.

Нет, это еще не офицерский лагерь, а обыкновенный пересыльный и, возможно, проверочный. Здесь мы тоже долго не задержимся. Шеф лагерной полиции требует строжайшей дисциплины и беспрекословного выполнения всех распоряжений германского командования. На днях в лагере закончат строить баню с дезинфекционной камерой. Тогда, может быть, избавимся от вшей. Мыло выдадут нам сегодня.

– В общем, теперь, кажется, не пропадем, – говорит Носов.

– И все?

– А что еще?... Кстати, вы окончательно решили отказаться от должности переводчика?

– Да.

– Я понимаю вас, но... это в какой-то степени нейтральная должность, а потом... – Носов понижает голос, – вы смогли бы окрепнуть, присмотреться и... Впрочем, дело ваше.

«Ни за что, ни за какие блага», – думаю я.

На следующее утро нас, новоприбывших, выстраивают перед баракom. Снова является начальник лагерной полиции, черноусый унтер-офицер в очках и несколько рядовых полицейских. Носов подает команду «смирно». Шеф полиции, выйдя вперед, говорит:

– Господа офицеры! Как вам известно, на сегодняшний день победоносная армия великой Германии продолжает свой путь на восток. Дни Москвы, Ленинграда и прочих крупных советских центров сочтены. Но большевики и евреи сопротивляются. В данной обстановке долг всех русских патриотов – подумать о том, как избавить Россию от дальнейшего бессмысленного кровопролития. В настоящее время среди широких слоев наших военнопленных рождается новое движение. Мы предлагаем всем честным пленным вступать в ряды русской освободительной армии... Кто из вас согласен записаться в эту армию?

На нас смотрят острые глаза унтера. А может, это просто проверка: хотят узнать, кто чем дышит?

Первым из строя выходит, конечно, лупоглазый. За ним – еще двое. Унтер и начальник полиции пронзают нас испытующим взглядом. Под таким взглядом чувствуешь себя неудобно, как голый.

– Кто еще? Кто против большевистско-еврейской заразы?

Вопрос поставлен совсем определенно... Из строя, боязливо поживаясь и озираясь, выступает хмурый, называющий лупоглазого по имени – Николаем, за ним тянется человек с распухшим лицом, бывший репрессированный. Глядя на них, делают два шага вперед еще четверо...

Остальные не двигаются с места. Стоит Носов, стоит кадровый старший лейтенант-комбат. И нас большинство.

– Ясно, – бросает начальник полиции. – Ра-азой-дись!

Ровно через сутки за мной приходит полицай. Он ведет меня в лагерную канцелярию. Наверно, опять будут звать в переводчики, думаю я... За длинным столом вижу усатого унтера в очках и писаря. Начальник полиции позади их, у окна.

– У нас есть сведения, что ты коммунист и политрук, – заявляет унтер.

– Неправда, – отвечаю я, слегка пораженный.

– Советую тебе признаться. – Унтер разговаривает по-русски свободно и без всякого акцента... Может, он какой-нибудь гестаповец?

– Мне не в чем признаваться. Мне нет еще восемнадцати, и я не мог быть коммунистом, а поэтому и политруком.

– Врешь! – Начальник полиции выходит на середину комнаты. – Ты политрук и работал переводчиком в политотделе дивизии.

– Я работал в штабе дивизии.

– Ты мне голову не морочь, я как-нибудь майор.

– Но тогда вы должны знать.

Я пока довольно спокоен, потому что прав. Мне кажется, установить истину нетрудно.

– Да, – хмуро говорит начальник полиции. – Тем не менее ты политрук и сотрудничал с политотделом.

– Неправда, – повторяю я.

– Правда! – Унтер хлопает ладонью по столу. – Ввести свидетеля!

Из-за портьера показывается знакомое лицо. Широкое, пылающее от волнения. Глаза блестят. Черные шнурочки бровей насуслены... Это техник-интендант второго ранга Рогач,

бывший начпрод моего полка. Это он однажды приглашал меня к себе в тыл, обещая снабдить наше командование «горилкой» и военоторговскими папиросами. И он попал, бедняга...

В то же время я очень рад, что нашелся свидетель. Сейчас недоразумение разрешится... Только почему он так волнуется?

Рогач вытягивает руки по швам. На меня не глядит.

– Действительно, я подтверждаю, что этот человек был адъютантом командира полка, а затем его перевели на должность переводчика в политотдел дивизии. – Голос у Рогача какой-то деревянный.

У меня от возмущения спирает в горле. Я потрясен, я просто не верю своим ушам.

– Ты... лжешь... Рогач! Я ведь тогда был ранен! Он, не мигая, смотрит на унтера. Пальцы его вытянутых рук сжимаются и разжимаются.

– Ну, что ты теперь скажешь? – усмехается унтер.

– Вы только взгляните на этого подлеца, – говорю я и сам гляжу в трепещущее багровое лицо Рогача. Думаю: как же ему не стыдно? – Посмотрите, он сейчас чувствует себя хуже, чем я, он... предатель!

– Молчать! – прикрикивает унтер. – Вы свободны, свидетель.

Рогач исчезает за портьерой. Хлопает дверь.

– Лучше признайся, – говорит мне начальник полиции. – В твоих же интересах.

– Нет, – говорю я, – вы же майор, вам же известно, что в партию не принимают моложе восемнадцати лет. Я с двадцать четвертого года... мне лишь в октябре исполнится восемнадцать. Я никак не мог быть политруком хотя бы по своему возрасту.

– Послушай, ты... – прерывает меня унтер. – Отправляйся в свой барак и думай до утра. Если ты утром не признаешься, я сгною тебя в карцере. Убирайся!

Ошеломленный и подавленный, я ухожу.

3

Всю ночь меня преследуют кошмары. Всю ночь надвигаются на меня тяжелые клубящиеся тучи – я отталкиваю их, но они снова ползут с высоты, их много, я знаю, что им нет конца, но я отталкиваю и отталкиваю их, задыхаюсь, изнемогаю и все-таки отталкиваю, потому что – я понимаю это, – если я не буду отталкивать их, то они задушат меня...

Наступает утро. У меня сильный жар. Носов, которому я вечером рассказал о допросе, щупает мой лоб.

– Негодяи! – шепчет он. – Мерзавцы!

Он сам идет со мной в санчасть – небольшой дощатый барак с красным крестом на двери. У входа неожиданно встречаемся с черноусым унтером. Тот молча задирает мою гимнастерку до подбородка.

– Тиф...

И поворачивается к двери с крестом, приказав нам ждать его на улице. Носов опять шепчет:

– Мерзавцы, негодяи!.. Но ничего, ты молод, выздоровеешь. Мы выстоим, как бы нам ни было трудно, мы должны выстоять. Не теряй веры и будь хоть немного похитрее.

Снова унтер.

– Заходи. – Он сторонится меня, боясь заразиться.

Я в последний раз взглядываю на Носова и захожу в барак. Дверь за мной захлопывается.

Человек в белом халате приказывает мне раздеться. Я снимаю гимнастерку, нижнюю рубашку и вижу на своем теле розовую сыпь.

– Одевайтесь, – говорит человек в белом. – Санитар, проводите его в изолятор...

У меня какое-то странное, умиротворенное состояние. Я покорно плетусь за санитаром к лагерным воротам, к нам присоединяется вооруженный дубиной полицаи. Мы идем к бревенчатой избе, стоящей вне лагеря в окружении сосен. Правда, изба тоже огорожена колючим забором и ее охраняет немец-часовой.

Сопровождающий нас полицаи остается у калитки. Мы с санитаром заходим внутрь. Возле крыльца санитар спрашивает меня:

– Ты политрук, что ль?

– Нет.

– А ты меня не бойсь, я не враг. Приказано не спускать с тебя глаз, учти. Понял? Обождите минуточку.

Он зовет кого-то через дверь. Появляется пожилой, желтый, заспанный человек.

– Принимай, фершал, – говорит ему мой санитар. – Да ты выдь, выдь на момент, проветрись. Я тебе должен сказать инструкцию доктора.

Заспанный фельдшер выходит. Оказывается, он не заспанный, а просто очень утомленный. Санитар отводит его в сторону.

– Велено передать, – слышу я его шепот, – чтоб за этим больным особо присматривали, он политрук. Понятно? И все вытекающие последствия.

Мне уже немогут стоять. Ноги подкашиваются.

– Так что лечи как следует, – шепчет санитар.

– Ты скажи военврачу, чтобы медикаментов прислал, – отвечает фельдшер. – Что я могу делать с пустыми руками?.. Пойдемте, – говорит он мне.

У меня, наверно, вновь начинается бред. Мне чудится, будто мы входим в празднично убранную крестьянскую избу. Перед темными образами в углу красновато теплится лампадка. Пол застлан пестрыми половиками. Кто-то невидимый совершает молитву... или это стон?

– У меня есть пара чистого белья. Переоденьтесь. – Фельдшер протягивает мне прохладный белый сверток.

Я переодеваюсь. Теперь я тоже белый. Мы вступаем в праздничный храм. Мы шествуем по нарядному ковру, мы медленно продвигаемся к светлому окошку.

– Параша у выхода, – предупреждает фельдшер. Вдоль стен стоят двухъярусные койки. На них люди. Зачем они здесь?

– Ложитесь пока на верхнюю. Освободится место внизу, тогда переведу. Сможете залезть?

– Спасибо. – Я очень люблю этого человека, фельдшера.

Я всех сейчас люблю. Всех, всех людей.

Я ложусь на койку. Мне удивительно хорошо. Мне тепло и покойно... Своды раздвигаются. Надо мной глубокое небо. Лишь бы на меня опять не поползли тучи. Я так боюсь этих туч... Пожалуйста, не надо туч! Пожалуйста, не надо!

...Я теряю всякое представление о времени. Я иногда поднимаюсь, слезаю с койки – мне при этом кажется, что я вылезая из вагонного окна и у меня длинные, как у обезьяны, руки, – я иду к параше, потом, раскачиваясь, снова взбираюсь на свое ложе. Порой в мое изголовье ставится баночка с кашей и кладется кусочек сахара. Баночку я прошу взять обратно – я не хочу каши, я только хочу воды. Я сосу сахар и запиваю его водой.

Я всех люблю. Мне постоянно тепло. Мне тяжело, что-то мешает мне, и все-таки мне хорошо. Я люблю свою койку, светлый квадрат окна и особенно руки, которые подают мне воду и сахар.

Не знаю, сколько проходит дней и ночей, прежде чем настает это. Это очень страшное. Я чувствую вдруг, что начинаю раздваиваться. Мне страшно. Мое «я» вдруг раскалывается и двоится. Одно «я» лежит на койке, другое «я» где-то в стороне и надо мной. Очень трудно

удержать обе половины вместе, я борюсь изо всех сил, хватаю руками другую свою половину, стараясь удержать ее. Но она хочет оторваться от меня: она мое второе «я».

– Не отпущу, не отпущу! – кричу я. – Не отпущу!

Баночка с водой стучит о мои зубы. Делаю несколько глотков. Мои «я» соединяются. Но это лишь короткая передышка. Скоро опять завязывается отчаянная борьба.

– Не дам! – кричу я. – Не дам!..

Начинаю метаться по койке, ловя уходящую свою часть, задыхаюсь, теряю последние силы... Где я? Что со мной? Темный горячий клубок душит меня.

– Помогите мне! – кричу я. – Помоги-ите!..

Дует ветер. Прохладное, чистое облако. Чьи-то любящие руки поддерживают меня.

Я глубоко вздыхаю, минута облегчения, и я перестаю вообще что-либо ощущать...

Я сплю, долго-долго сплю. Просыпаюсь, съедаю кашу, сахар – и снова сплю.

– Ну, как? – спрашивает меня фельдшер. – Полегче?

– Да. Спасибо.

– Теперь будете поправляться. Самое опасное перевалили.

Постепенно все становится на свои места... Я в плену, в Борисовском лагере, в тифозном изоляторе. Меня продал начпрод Рогач – он предатель и изменник Родины, а капитан Носов – очень порядочный человек. Немцы рвутся к Волге, но нам надо выстоять и надо не терять веры. А мне, кроме того, следует быть похитрее...

– Какое сегодня число? – спрашиваю я через несколько дней фельдшера.

– Двадцатое августа. Сегодня я переведу вас к выздоравливающим.

Значит, я лежу тут больше десяти дней... А что будет дальше? Кто сможет ответить на этот вопрос?

Я впервые выглядываю в окно и вижу за рядами колючей проволоки сосны, пожухлую траву и поблекшую, уже тронутую кое-где желтизной листву берез на косогоре.

4

Минует еще неделя. За мной являются двое полицаев и немец с винтовкой. Я прощаюсь с фельдшером и с его помощью выхожу из изолятора. Так как ноги пока не подчиняются мне, полицаи подхватывают меня под руки. Куда это они меня?

Мы проходим мимо лагерных ворот, пересекаем железнодорожное полотно. Мы идем по какой-то лесной дороге. Наконец впереди в просвете между деревьями вырисовываются сторожевые вышки нового лагеря.

– Куда вы меня тащите?

– На курорт, – отвечает один из полицаев. – На хороший германский курорт.

Они оставляют меня перед вахтой. Солдат с винтовкой что-то говорит часовому, и тот приказывает мне войти в этот новый лагерь. Через минуту меня берут под руки два других полицаи и волокут дальше. Мы останавливаемся перед зеленым бараком, огороженным колючкой. Здесь у калитки дежурит еще один полицаи.

– Что, словили рыбку? – усмехаясь, спрашивает он своих коллег.

Меня впускают за загородку.

– Эй, старшой! – орет дежурный полицаи. – Пополнение!

Показывается невысокий, с ямкой на подбородке человек. Он в сапогах, в комсоставской гимнастерке, заправленной в брюки.

– Помогите... до двери, – прошу я его.

Он заводит меня в барак. Я ложусь на указанную мне пустую дощатую койку – они тут, как и в изоляторе, двухъярусные, – подкладываю под голову котелок, который подарил мне фельдшер. Я очень устал.

И вдруг я вижу комиссара своего полка Худякова... А может, это и не Худяков? Он поднимается с соседней койки... Неужели он? Неужели Худяков? Чувство, похожее на испуг, овладевает мной.

– Товарищ ко... – говорю я и спохватываюсь. – Михаил, – тихо зову я. Отчество Худякова вылетает у меня из памяти, но это сейчас не так важно. – Михаил!

Он вздрагивает. Смотрит на меня. Его лицо словно ссохлось, губы темные, нос будто крупнее.

– Ты? – Он подходит. – И ты тоже?

– Да.

Он волнуется, прикусывает губу, как тогда зимой при отступлении под Сычовкой.

– Ты ранен?

– Нет, я только что из лазарета, болел тифом. – «Как же он изменился!» – думаю я. –

А вы?

– А почему ты здесь?

– Не знаю. А что здесь!

– Здесь пленные политработники... Как ты сюда попал?

Я отвечаю не сразу... Значит, немцы все-таки считают меня политруком... Слишком еще свежа в памяти сцена расстрела на поляне перед березовой рощей человека с красной звездой на рукаве, чтобы я мог спокойно отнестись к тому, что я в глазах немцев политрук.

– Вы помните начпрод Рогача?

– Да. А что? Он тоже в плену?

– Он донес, что я якобы был политруком и работал переводчиком в политотделе дивизии.

– Рогач?.. Такой старательный, дисциплинированный... – Худяков мучительно потирает лоб.

– Рогач, – говорю я.

– Поговорим об этом после, – тихо произносит Худяков.

Лежа на жесткой койке, я весь остаток дня присматриваюсь к людям. Первое впечатление таково, что военнопленные политработники просто не знают, что их ждет. Они заметно отличаются от тех пленных, с которыми я сталкивался раньше: выдержаннее, спокойнее и, обращаясь к старшим, употребляют слово «товарищ». Даже одежда у них опрятнее – я вижу, что кое-кто пришивает отлетевшие пуговицы. А главное, здесь не слышно подленьких разговоров о победоносном продвижении германских войск и нашем близком конце.

На другой день я без посторонней помощи выхожу на проверку. Нас пересчитывает во дворе перед бараком добродушного вида немец-ефрейтор. Нас человек пятьдесят. Есть молодые, лет по двадцать, есть старики, большинство же среднего возраста; все худые, но подтянутые – сразу видно, что военные. Мне как-то легче дышится здесь, хотя я и убежден, что рано или поздно нас расстреляют.

После обеда приводят новеньких. Среди них бросается в глаза человек с яркой рыжей бородой. Некоторые так и называют его – Борода. Вечером по случаю воскресенья нам выдают, кроме обычного куска эрзац-хлеба, еще по четверть литра жидкой мучной заболтки. Рыжебородый, стоя у деревянного бачка с небольшим излишком похлебки, солидно поглаживает усы.

– Старичку надо добавить, – убежденно говорит он нашему старшему. – Не обижайте старичка, грех.

Глаза у него молодые, жуликоватые, на лице ни единой морщинки. Ему, наверно, лет тридцать.

Перед отбоем мы с Худяковым гуляем во дворе. Вспоминаем фронт, полк, Симоненко, нашу трудную, но такую хорошую, как теперь, кажется, былую жизнь. Во время окружения Худяков с группой бойцов пробивался к партизанам. Не удалось. Счастье еще, что на нем слу-

чайно оказалась красноармейская шинель. Партбилет, зашитый в подкладке брюк, он уничтожил уже в лагере, а удостоверение личности и прочие документы попали в руки немцев.

– Если меня расстреляют, – вдруг останавливаясь, говорит Худяков, – а ты уцелеешь и вернешься, сообщи, пожалуйста, моим родным... Я сделаю все, что смогу, чтобы тебя перевели отсюда.

5

Дни идут за днями, но ничего не меняется. Я по-прежнему среди политруков. Тут их становится все больше. Поговаривают об отправке в какой-то специальный лагерь.

...Из соседней комнаты выходят мои новые приятели – Виктор и Ираклий. Они зовут меня сыграть в домино. Четвертым они приглашают батальонного комиссара Зимодру.

Мы садимся за стол и принимаемся стучать. Но игра что-то не клеится.

– Надо бы сделать шахматы, – говорит Ираклий. У него светло-карие глаза, с горбинкой нос (отец у него – грузин, мать – украинка). Ираклий – мастер на все руки: он искусно вырезает из дерева матрешек, вытачивает мундштуки, лепит из глины забавные фигурки божков и животных.

– Надо бы сделать самолет, – острит Виктор, синеглазый неунывающий одессит.

Оба они тоже причислены к политсоставу, хотя Ираклий только временно исполнял обязанности замполитрука, а Виктор и вовсе – летчик, сбитый при попытке доставить груз десанникам.

Зимодра зевает.

– Сделайте пока что из себя порядочных людей, черти сопливые.

Он говорит, растягивая слова, взгляд у него с ленцой и чуточку надменный.

Зимодра до войны был секретарем Мурманского горкома комсомола, а на фронте – комиссаром отдельного авиадесантного батальона... Короткие русые волосы его курчавятся, брови, как и у Ираклия, черные и крылатые.

– Навестим писателя? – помедлив, предлагает он мне.

Идем через короткий коридор в комнату, окна которой обращены к лесу. Сквозь окно за колючей проволокой виднеется часовой-автоматчик, дальше меж стволов желтеет полоса железнодорожной насыпи.

Илья Михайлович Соколов, он же Типот, московский литератор, лежит на животе и что-то мелко пишет карандашом в самодельном блокноте.

– Мы не помешали? – вежливо осведомляется Зимодра.

– Милости прошу, – отвечает Типот (он любит, чтобы его называли Типот: кажется, это его литературный псевдоним).

Он невысокий, большеголовый, смуглый. У него тонкий голос. Он прячет в нагрудный карман блокнот, из другого – вынимает трубку. Закуривает.

– Скажи мне, кудесник, любимец богов, – нараспев произносит Зимодра.

– Слушаю вас, – серьезно отвечает Типот.

– Что с нами будет? – спрашивает Зимодра. – Как твоя писательская интуиция?

– Мы превратимся в дым. – Типот выпускает изо рта сизый ядовитый клубочек.

– А вообще?

– А вообще в основном все будет, как и было. Люди будут рождаться, учиться, делать разные глупости, совершать подвиги и открытия, умирать. А потом все сначала... А, по-твоему, как?

Зимодра тонко улыбается.

– После войны все будет по-другому. Умирать никто не будет.

– Живые и теперь не умирают.

– Вот именно. Молодец, старина!.. Сколько мы с тобой уже знакомы?

– Год и два месяца, старик...

Проходит еще неделя. Положение не меняется. Проходит месяц. Нас здесь уже около ста человек.

Стоит золотая осень. Светятся погожие дни. Легкий ветерок заносит к нам клейкую прозрачную паутину, а однажды я нахожу во дворе прилетевшие из-за колючки два багряных листка. Я часами простаиваю на улице, наблюдая за тяжелыми составами, которые с грохотом катятся на восток – всё на восток... Мы ждем.

В середине октября как-то сразу настает осень. Резко холодает, дождит, быстро смеркается. Немцы будто забыли о нас. Правда, иногда нас выводят на работу. Под большой охраной мы ремонтируем дороги вокруг лагеря.

Я все лучше узнаю товарищей. Зимодра, Типот, Худяков, Виктор, Ираклий – это настоящие. И большинство пленных комиссаров и политруков настоящие люди. Большинство, но не все...



С наступлением сумерек и до отбоя у нас теперь часто устраиваются вечера устных рассказов. Старший политрук Костюшин очень интересно описывает технологию производства шоколадных конфет: он по гражданской специальности кондитер, работник прославленного «Моссельпрома».

Типот, посасывая пустую трубку, повествует о жизни великих писателей.

Зимодра с увлечением рассказывает, как ведется промысел в наших полярных морях.

– А я вам вот о чем поведаю, братцы, – объявляет раз Борода. – Беспартийных среди нас нет, так что, надеюсь, никаких тайн я не разглашу...

Смакуя подробности, он вспоминает о том, как брал взятки у председателя передового колхоза, как пьянствовал вместе с прокурором и гулял с районными активистками.

– Ну, было же так, правда? Чего греха таить! – с ухмылкой произносит он.

Кое-кто похихикивает.

– Мы люди свои, товарищи, можно сказать. Верно?

- Серый волк – тебе товарищ, в Брянском лесу, – резко отвечает из темноты Зимодра.
- Это кто такой? Кто? – обеспокоенно спрашивает борода.
- Я вот сейчас встану и морду тебе набью, – заявляет Зимодра, – тогда узнаешь, кто!
- Ну, назовись... Давай подебатыруем.

Но Зимодра больше не отзывается. По-моему, кто-то из соседей удерживает его...

И еще один день – пасмурный, холодный день конца октября. После утренней проверки дежурный полицай глумливо поздравляет нас с «победой». Как только что сообщило радио, германская армия якобы овладела Сталинградом и завершает окружение Москвы... Среди наших воцаряется подавленная тишина. Люди молча расходятся по своим местам.

Не грустят только борода и его три дружка. (Вчера их снова вызывал на беседу немецкий офицер. С шутками и прибаутками усаживаются они за стол и начинают «забивать козла». Я выхожу из барака.

По двору, засунув руки в карманы шинели, прогуливается Худяков. Он думает. В последнее время он совершенно замкнулся в себе и постоянно о чем-то думает.

– Давай побродим вместе, – заметив меня, говорит он. Взгляд его хмур и серьезен. – Ты знаешь, между прочим, почему у нас такой тяжелый провал на фронте?.. Мы наделали кучу ошибок. И самая большая – это тридцать седьмой год, несомненно. Мы потеряли много честных партийцев, в том числе и в армии, а такие прохвосты, как борода или Рогач, остались. Мы сами себя ослабили – вот в чем дело... в чем наша трагедия.

– Что же, по-вашему, теперь победят нас? – напрямик спрашиваю я.

– Нет. Не победят. Когда народ полностью осознает, что ему грозит, все переменится.

Я вижу на глазах Худякова слезы.

Днем в барак приходит холеный немецкий обер-лейтенант. Нам приказывают построиться. Обер-лейтенант выкликает по списку шесть человек. Среди них и борода.

– Вот истинные патриоты своей родины, – на чистейшем русском языке говорит немец.

«Патриоты» прячут глаза. Они зачислены пропагандистами в армию изменников. Вскоре их уводят от нас.

Глава восьмая

1

Раз, два! Раз, два! В стороны, вместе, в стороны, вместе!.. Положив руки на бедра, мы делаем подскоки. Из наших ртов вылетают клубочки пара. Сквозь дверную щель снизу в вагон сочится желтый морозный свет.

– Хватит, согрелись, – говорит Иракий.

– Кто согрелся, переходи на ходьбу. Остальные... раз, два! Раз, два! – Виктор легко подпрыгивает на своих длинных ногах, обутом в разбитые сапоги.

– Хватит, – говорю я и тоже останавливаюсь. Стены вагона белые от плотного слоя инея. Мы словно в леднике. Окошко забито фанерой и перетянута крест-накрест проволокой. Полутьма, и только снизу желтеет морозная полоска воздуха.

У двери, запертой снаружи на замок, приплясывает Васька. Щелкают по рельсам колеса, он в такт их ударам постукивает каблуками и мурлычет свою любимую песенку:

Марфуша все хлопочеть,
Марфуша замуж хочеть,
Марфуша будет ве-ерная жена...

Васька – моторист из Керчи. Он, как и Иракий, десантник и тоже или замполитрука, или младший политрук, а по его собственному уверению – обыкновенный рядовой, которого подлюги продали за горсть махорки. В этом вагоне, похоже, мы все такие: здесь нас человек двадцать, заподозренных в принадлежности к политсоставу и теперь отделенных от настоящих комиссаров и политруков.

Васька коренаст, плечист, с толстой шеей, покрытой белыми пупырышками. Говорит он всегда охрипшим баском и часто шикарно сплевывает сквозь зубы. Он и сейчас плюет в морозную щель и подходит к нам.

– Ну что, хлопцы, может, споем?

– Марфушу?

– Нет, чего-нибудь для души... Из России увозят нас, вы чуете это? Понимаете – из России...

Ночью мы проехали Минск. Сегодня нас везут дальше на запад. Вероятно, мы уже где-то поблизости от нашей старой государственной границы.

Васька опускается перед Виктором на корточки.

– Так-то, Одесса-мама.

– Ладно, не трави, – говорит Виктор. – Давай, запевай.

– А что?

– Что хочешь. «Галю».

Ой, ты, Галя, Галя молодая,

Пидманули Галю, завлекли с собою... – хрипло, сильным басом поет Васька, потом матерно ругается: никто не подтягивает...

Попереду, попереду Дорошенко,

Попереду, попереду Дорошенко,

Что променяв жинку на тютун та люльку... – тоскует Васькин бас, протестует, жалуется, но опять никто не поддерживает его. Не поется.

– Зарядочку? – спустя минуту спрашивает Виктор. Но и прыгать не хочется.

– Будем замерзать, как японские самураи, – решает Иракий, утыкает нос в ворот шинели и, обхватив себя вперехлест руками, раскачивается из стороны в сторону.

Васька, отойдя к двери, вновь ругается нехорошими словами.

В середине дня поезд останавливается надолго. Мы слышим чужую, незнакомую речь проходящих мимо людей, вероятно, железнодорожных рабочих. Брякает, поворачиваясь, ключ в замке, громяют железные засовы. Дверь отодвигается.

«Raus» («Выходи») – приказывает старший конвоир.

Один за другим вылезает из ледника. Строимся. На путях товарные и пассажирские вагоны, в воздухе нити заиндеветших проводов, за станцией в розовой морозной дымке большой город с высокими крышами, многочисленными башнями и шпилями.

Нас ведут прямо через пути на одну из узких улиц. Еще раз пересчитывают...

Впереди показывается мрачное здание, обнесенное каменной стеной. Глаза постепенно различают башенки с часовыми, зарешеченные окна, ворота и перед ними – полосатый шлагбаум и такую же полосатую будку с постовым, вооруженным винтовкой. Неужели нас туда?

Да, точно, ведут в этот каземат. Почему? Зачем?..

Доходим до шлагбаума. Старший конвоир предъявляет постовому сопроводительную бумагу. Тот нажимает на кнопку в стене. Шлагбаум поднимается. Затем медленно раздвигаются створы ворот.

2

Мы входим в каменный тюремный двор. Слева от нас – ров с крутыми стенками, за ним – трехэтажный серый корпус.



Через ров перекинут легкий мостик. Прямо – невысокое здание с большими окнами. Справа, видимо, хозяйственные помещения и кухня: пахнет горячей похлебкой...

Из здания напротив выходит толстый немец-офицер, за ним – высокий молодой человек в английской шинели. Старший конвоир, отдав честь офицеру, удаляется.

Офицер подходит к нам. На его лице с двойным подбородком довольная улыбка. Худощавый, чуть порозовевший от холода, молодой человек очень оживлен. На белой нарукавной повязке у него слова «Dolmetscher», – значит, он переводчик.

– Also... – произносит офицер.

– Итак... – с готовностью повторяет по-русски переводчик и говорит далее вслед за офицером – Итак, милостивые государи, вы прибыли к нам. Мы рады. С нашей стороны вы встретите здесь полное понимание и соответствующую заботу. С вашей стороны, подчеркивает господин комендант (эти слова переводчик добавляет от себя), мы надеемся встретить дисциплинированность, дисциплинированность и еще раз дисциплинированность. Вот все, о чем я хотел бы пока уведомить вас, весьма уважаемые господа.

Комендант любезно улыбается. Переводчик тоже – у него полные губы и круглые карие глаза.

– Also, – заключает комендант.

– Итак, вам, конечно, все ясно, – говорит переводчик.

Многозначительное вступление. А дальше что?

Комендант уходит, показав нам широкую спину и гладкий, обтянутый зеленым сукном шинели зад. Переводчик остается.

– Между прочим, с вами разговаривал один из видных психологов Германии, – доверительно сообщает он. – Здесь вам будет неплохо... Вы политруки?

– Какие там политруки!.. – отвечает за всех Васька. – Рядовые... есть и средние командиры. Только заподозренные.

– Ну, по мнению немецкого командования, это почти одно и то же. Теперь многое зависит от вас самих... Слева по одному за мной... марш! – командует переводчик и ведет нас направо к хозяйственным помещениям.

В длинном с цементным полом коридоре нам приказывают раздеться и сдать одежду в дезинфекционную камеру. Затем нам выдают по кусочку жесткого, как сухая глина, мыла, заводят в прохладную душевую.

– Психолог! – фыркает Васька. – Опыты, что ли, над нами собираются проделывать? А, Одесса-мама, как считаешь?

– Я – пожалуйста, – усмехается Виктор. – Всю жизнь мечтал...

Из душевой выбираемся через другие двери. Тут уже лежит сваленная в кучу наша одежда. Шагах в десяти от нее восседает на табурете немец в белом халате и тонких резиновых перчатках, рядом с ним – тот же переводчик.

– Подходите к нему, не стесняйтесь, – говорит он. – Евреи среди вас имеются?

Все молчат.

Немец в белом халате внимательно осматривает нас, голых, ниже пояса, потом заглядывает в лица, шупает нос, голову... Чудно и неловко. Зачем это?

– Jude? – вдруг настораживается немец. – Еврей? – спрашивает переводчик.

– Я татарин, – отвечает один из наших, – мусульманин.

Немец достает из кармана рулетку и, встав, принимается измерять окружность черепа, длину носа, пристально вглядывается в глаза татарина. Потом пишет в блокноте какие-то формулы, что-то подсчитывает и надолго задумывается.

– Да-а, – хрипловато тянет Васька.

– Тш-ш! – шипит переводчик... – Следующий! Татарин, шумно отдуваясь, бредет к груде одежды.

Немец осматривает Ираклия, отпускает его и вдруг, взглянув на его затылок, кричит: «Zurück» – «Назад!»

– Jude? – спрашивает он Ираклия.

– Я наполовину грузин, наполовину украинец, – объясняет тот.

Но немец, видимо, не верит. Он ощупывает голову Ираклия, трогает нос, заглядывает в рот, опять пишет формулы и что-то подсчитывает...

– Следующий! – командует переводчик.

Когда эта дикая процедура заканчивается, и мы одеваемся в нашу еще горячую, пахнущую чем-то удушливо-острым одежду, он ведет нас через мостик к серому трехэтажному корпусу. Мы поднимаемся на второй этаж. Нам отводят тесную комнату с узким, схваченным толстой железной решеткой окном. В комнате двухъярусные нары, возле двери стол, над ним – электрическая лампочка.

– Сейчас вам принесут суп, – говорит переводчик и, помедлив, спрашивает – Москвичей нет?

Москвичей среди нас нет.

– А что же здесь все-таки – лагерь или тюрьма? – интересуется Виктор.

– Научно-исследовательский институт, – острит переводчик. – Лагерь, конечно... Еще какие вопросы?

– Как с харчишками? – спрашивает Васька.

– Соответственно.

– Не бьют?

– Не рекомендуется.

– Вы как дипломат, – ухмыляется Васька.

– Должность такая, – отвечает переводчик. – Работать пока не будете, выберите старшего, соблюдайте чистоту... Для начала все.

Вскоре после его ухода нам приносят баланду и пять кирпичиков хлеба. Каждый кирпичик на четверых, баланды по три четверти литра на брата. Мы трое – Виктор, Ираклий и я – залезаем на верхние нары. Васька пытается завести знакомство с рабочими кухни.

– Керченских не знаете?

– Вроде бы не попадалось.

– А мелитопольских?

– Запрещено нам разговаривать с вами, – хмуро признается один из рабочих. – Пошли, Степан.

– Подозрение не снято, – констатирует Васька.

3

Ранние декабрьские сумерки. Сегодня ровно год, как я ушел на войну. Хочется побыть одному и подумать.

Я прогуливаюсь вдоль корпуса. Морозно и ветрено. Тюремная стена освещена электрическими лампочками, но двор в полумраке.

Возле мостика, переброшенного через ров, по одну сторону стоит Васька, по другую – полицейай. Они изредка обмениваются короткими репликами.

Я хожу и думаю о том, что прошел всего год, а сколько событий совершилось на моих глазах, сколько людей – и хороших и плохих – повстречалось за это время... Интересно устроен человек. Никогда теперь я не перестану удивляться человеку.

...Из лагерной канцелярии показывается комендант-психолог в сопровождении высокого переводчика – его зовут Сергеем. Они поворачивают к нам. Полицейай вытягивается и по-немецки щелкает каблуками. Васька вытаскивает руки из карманов. Комендант, перейдя мостик, останавливается возле Васьки.

– Почему не приветствуете? – слышу я голос Сергея: он переводит вопрос коменданта.

– А как я должен приветствовать его? – робея, спрашивает Васька.

Сергей переводит Васькины слова.

– По меньшей мере встать по стойке «смирно», – говорит затем Сергей.

Комендант берет рукой в кожаной перчатке Ваську за подбородок, оттягивает кверху, всматривается в лицо и что-то говорит, что, я не могу разобрать. Потом отряхивает руки.

– Дегенерат, – громко переводит Сергей. – Характерный экземпляр восточноевропейского преступника.

Васька молчит. Переводчик справляется о его фамилии и делает какую-то пометку в блокноте.

Комендант идет в наш корпус. Замечает меня. Я стою около серой стены, думал, не обратит внимания.

– Давай сюда! – приказывает переводчик. Подхожу. Комендант закуривает сигарету и подносит огонек зажигалки к моему лицу.

– Типичный большевистский выкормыш. Опасен, – заключает он по-немецки.

Сергей переводит и от себя добавляет:

– Не повезло тебе, парняга. Как фамилия?

Он снова что-то записывает в блокноте и бежит за комендантом, который уже скрывается за дверью.

Мы с Васькой направляемся следом. Наши строятся в шеренгу в коридоре перед входом в комнату. Нам с Васькой Сергей приказывает встать отдельно.

– Смирно! – командует он и вынимает из шинели блокнот.

Комендант подходит к левофланговому. Это длинный поджарый татарин, смуглый, с добрыми бараными глазами.

– Коммунист, – заявляет комендант. – Магометанин. Лицемер.

Сергей переводит и, опять справившись о фамилии, записывает.

Вторым стоит Виктор.

– Комсомолец, – безапелляционно судит комендант. – Склонен к иронии. Опасен.

Сергей записывает.

– Большевик, явный политрук и фанатик. – Комендант медленно шествует вдоль строя.

– Кретин и в потенции людоед, – говорит он.

– Слабохарактерный. Убеждений не имеет.

– Начинаящий уголовник. Хитрый.

– Коммунист и большевик. Крайне опасен. Очередь Ираклия. Я вижу, как напрягаются мускулы на его лице.

– Интеллигент. Чрезвычайно опасен.

Так, аттестуя каждого, комендант доходит до конца строя.

– Вольно! – произносит Сергей.

Комендант вновь, как и в день прибытия, обращается к нам с краткой речью, которую Сергей переводит целиком.

– Господа («Meine Herren»), у меня пока нет оснований быть недовольным вами. Я уверен, что и вы, в свою очередь, не можете пожаловаться на меня и на мой персонал. Мы здесь еще продлим наше знакомство, а теперь я разрешаю вам удалиться в ваши покои.

– Смирно! – выкрикивает Сергей.

Комендант поворачивается к выходу, переводчик спешит за ним.

– Разойдись! – говорит наш старший.

Виктор, Ираклий и я забираемся на нары. И хотя нам в общем не очень весело, начинаем хохотать...

Вот, оказывается, мы какие. Дегенераты, людоеды, уголовники и магометане. И сверх того почти все большевики и одновременно коммунисты, комсомольцы, а также политруки и вместе с тем фанатики... Ну и ну, великая наука – психология! Ну и ну, господин ученый комендант Вильнюсского лагеря военнопленных!

Удивительно и другое: мы смеемся. Я уже забыл, когда смеялся последний раз. И никогда не думал, что здесь, в плену, буду смеяться.

К нам на нары влезает Васька.

– Вы объясните мне, хлопцы, почему я... как его... дегенерат. – Он по-серьезному удручен и расстроен. – Конечно, я не шибко грамотный, но разве на моей физии есть что-нибудь такое... как он сказал... восточноевропейско-преступное?

– Есть, – радуется Виктор. – Есть на твоей вывеске такое, знаешь ли, южнороссийско-босаяцкое, такое типично портово-черноморское.

– А ну вас к етакой маме! – Васька сердится. – К вам, как к людям, а вы... Упекет он нас теперь, попомните мое слово. Ежели, конечно, не случится чуда.

Насчет «чуда» мы помалкиваем. До нас доходят слухи, что немцы завязли на Волге, а Москва все стоит и стоит, наша Москва. Но об этом вслух мы не говорим.

4

Квадратная комната с двумя узкими высокими окнами. В комнате прохладно и мрачно-вато. Под потолком вполнакала горит электрическая лампочка.

Мы сидим за столами. Перед нами обер-лейтенант, коротенький, желтый, морщинистый, как сморчок. По распоряжению коменданта он проводит с нами урок немецкого языка. Это, вероятно, какой-то новый психологический эксперимент, тем более замечательный, что наш учитель не знает ни слова по-русски, а большинство из нас, его учеников, – ни слова по-немецки.

Сцепив пальцы на животе, сморчок произносит первую вступительную фразу:

– Die deutsche Sprache ist eine harte Sprache (Немецкий язык – твердый язык).

При этом он изо всех сил пытается твердо выговорить букву «г», но у него не получается: он картавит.

Он спрашивает, поняли ли мы его.

– Я-а, – тянем мы. Сморчок удовлетворен.

– Gut (Хорошо).

Он смотрит на часы и переходит к следующему разделу урока. Он объясняет, что нам необходимо запомнить восемь основных положений, регламентирующих человеческую жизнь, восемь «Ich muß» («Я должен»), а именно:

– Ich muß aufstehen (Я должен вставать).

Чтобы мы лучше усвоили эту истину, сморчок заставляет нас трижды повторять вместе с ним: «Ich muß aufstehen».

Поняли ли мы его? Да, конечно.

– Ich muß mich waschen (Я должен мыться), – провозглашает далее наш учитель.

Поразительное открытие!.. Я гляжу на склонного к иронии Виктора – он зажимает подрагивающие губы кулаком. Снова хором повторяем немецкую фразу – относительно того, что я должен мыться.

– Ich muß arbeiten (Я должен работать), – заявляет вслед за тем обер-лейтенант и, тревожась, спрашивается, понятно ли нам это.

Отвечаем без всякого энтузиазма:

– Я-а.

– Ich muß reinigen (Я должен наводить чистоту), – убежденно декларирует учитель.

Против чистоты мы ничего не имеем. Пожалуйста.

– Ich muß ruhen (Я должен отдыхать), – менее уверенно говорит он.

В том, что человек должен отдыхать, мы тоже не совсем уверены, но он не заставляет повторять: «Ich muß ruhen».

– Ich muß essen (Я должен есть), – скороговоркой выпаливает сморчок.

– Ich muß austreten (Я должен посетить уборную), – тут же бодро произносит он и считает необходимым обратить особое внимание на столь важный момент человеческого бытия. Мы трижды повторяем вместе с учителем: «Ich muß austreten».

– Ich muß schlafen (Я должен спать), – делится он с нами еще одним открытием.

Он опять смотрит на часы и начинает проверять, как мы усвоили урок.

«Что это – идиотизм, вырождение? – думаю я. – Может быть, лагерное начальство вообще не считает нас за людей?»

Мне больше не смешно. Я вдруг понимаю, что этот обер-лейтенант – мой личный враг, он наш общий враг, и таких, по-видимому, тысячи, готовых твердо осуществлять предначертания своего фюрера... Вот он, их «новый порядок», вот в миниатюре картина будущей жизни человека, которую они уготовливают нам!

В заключение урока обер-лейтенант посвящает несколько минут теоретическим рассуждениям. Ему известно, что в большинстве своем мы офицеры политической службы Красной Армии, да, но хорошо ли мы представляем себе, что такое политика?

- Политика – это страшно, – возвещает он.
- Политика – это кошмар, – подчеркивает он.
- Политика – это смерть, – пугает он нас.

Он сам когда-то командовал взводом солдат, расстреливавших коммунистов. Это, надо сказать, жутковато. Это как бред наяву. Он призывает нас отказаться в дальнейшей жизни от всякой политики...

Нет, не столь уж безобиден и глуп этот наставник. И не сморчок он, а маленькая ядовитая поганка!

Возвращаемся в свою комнату. Настроение отвратительное. Я подхожу к узкому крепостному окну. Оккупированный фашистами Вильнюс мигает редкими огоньками. Внизу за освещенной тюремной стеной темнеет полоса реки.

Если бы придумать такую катапульту, которая выбрасывала бы из окна прямо в реку!.. Я, наверно, согласился бы – пусть с большим риском, – чтобы меня вышвырнули первым. Уж лучше еще сто раз рискнуть жизнью, чем находиться во власти этих полуидиотов-полузверей. Я все равно убегу, лишь бы дождаться весны. Убегу, чтобы потом воевать с ними, с учеными людоедами и наставниками, и рассказывать о них людям.

Глава девятая

1

И снова вагон-ледник. Снова, чтобы согреться, подскоки на месте. И хриплый Васькин бас, затягивающий то «Галю», то «Казачи идут». И ненависть, и тоска оттого, что нас увозят все дальше от Родины.

Опять какая-то большая станция, нерусские дома, нерусская речь. Опять конвоиры, высокий забор из колючей проволоки, вышки с часовыми... После дезинфекции и душа мы получаем вместо наших ботинок и сапог долбленые деревянные колодки, затем нас под охраной ведут к длинной землянке, похожей на овощехранилище. Землянка обнесена еще одним колючим забором – это что-то вроде лагеря в лагере; у калитки топчется дежурный полицай.

Во дворе за загородкой нас ожидают два немца: офицер и унтер-офицер. Офицер – невысокий, очень прямой, щеголеватый, с маленьким фотоаппаратом на груди. Унтер – угрюмый, длинноносый, с сильно выступающим вперед подбородком.

– Живей, живей! – вдруг по-русски прикрикивает на нас офицер.

Мы входим во двор, подравниваемся. Офицер, достав из кармана бумагу, делает перекичку. Все целы.

– Будем знакомь! – говорит он. – Я зондерфюрер Мекке, ваш духовный отец. Унтер-офицер, которого вы перед собой видите, – шеф зондерблока. Любое его распоряжение – для вас закон. Ясно?

– Ясно, – отвечаем мы.

– А теперь марш в барак. Бего-ом!

Мы бежим в землянку. Внутри темно, пахнет плесенью и лежалой соломой. Слева и справа с низких нар свешиваются ноги в деревянных колодках.

– Упек нас психолог, кость ему в горло, – бормочет Васька.

Осматриваемся. На одном из скатов крыши виднеется четырехугольное окошко, от него на земляной пол падает серый столб света.

К нам подходит высокий человек в шинели.

– Здравствуйте. Я старший зондерблока. Размещайтесь на нарах у выхода, в середине все занято. Сколько вас?

– Восемнадцать, – отвечает Васька.

Двоих из нашей группы все-таки перевели в рабочую команду и оставили в Вильнюсе.

Мы занимаем место на нарах неподалеку от заиндевевшей двери.

– Никак наши? – внезапно слышу знакомый медлительный голос.

– Игнат! – восклицает Виктор.

С нар привстает Зимодра. На его шапке соломенная труха. Здравуемся.

– Вы, собственно, откуда взялись, подозрительные личности?

– А тебя как сюда угораздило? – спрашивает Ираклий.

– Да тут почти все наши из Борисова.

– И Худяков? – говорю я.

– И Худяков, и Костюшин, и Типот... А вы где были?

Рассказываем Зимодре о Вильнюсском лагере. Один за другим подходят наши товарищи по Борисову.

Крепко пожимаю руку Худякову.

– А это что за лагерь? – интересуется Васька. – Где мы, ежели это не военная тайна?

– Тайны нет, – нехотя произносит Зимодра. – Мы в Польше, в шталаге номер триста девятнадцать, к тому же в зондерблоке.

– А с кормежкой как?

– Отлично... Жив будешь, а любить не захочешь. – Вновь появляется высокий человек в шинели, здешний старший. Он просит прекратить беседу. Тут это запрещено.

– Есть, товарищ майор, – Зимодра, усмехнувшись, опять ложится на солому.

Я приглашаю к нам на нары Худякова. Он выглядит еще более убитым, чем в Борисове.

– В другой раз, после как-нибудь, – говорит он сухим, сонным голосом и плетется на свое место в середину землянки.

Скверно. Поистине, упек нас психолог. Впрочем, я уже начинаю привыкать к тому, что я политрук и что мне так или иначе придется разделить участь своих старших товарищей. Конечно, если не удастся бежать.

Томительно тянется время.

Животы наши подвело до предела: к обеду мы опоздали, а до выдачи хлеба надо ждать еще несколько часов. Может, поспать? Но спать не хочется.

Я придвигаюсь к Зимодре. Он лежит на спине с открытыми глазами – в шинели, в колодках, в шапке-ушанке на голове. Похоже, что он, как и Худяков, крайне подавлен.

– В чем дело, Игнат? Бьют здесь?

– Случается. – Он отвечает тихо, не поворачивая головы. – Шеф – зверюга, зондерфюрер, говорят, бывший разведчик-шпион и здесь шпионит за нами... А главное, отсюда уводят.

– Куда?

– Болтают, что всех политруков, которые тут были до нас, пустили в расход.

– Зачем же везли нас в Польшу? Разве они не могли сделать это раньше?

– Кто их знает. – Зимодра перевертывается на живот, подпирается локтями. – А что на фронтах? Что под Сталинградом?

Рассказываю об окружении немецких армий. Он кое-что уже слышал. Я говорю, что за зиму немцев разобьют и будем свободны. Зимодра качает головой.

– За зиму не успеют. Слишком далеко они забрались. А вообще – здорово... Значит, правду говорили кухонные рабочие.

– Насчет Сталинграда?

– Да, и насчет всего. Постреляют нас эти гады. – Он опускает лицо в трухлявую солому. Паршивое дело, думаю я.

2

Глухая ночь. В землянке темно, как в могиле. Воздух спертый даже у двери. Мы лежим на правом боку, притиснутые друг к другу. Теперь я понимаю, почему здесь многие спят днем. Ночью, когда все в сборе, места на нарах не хватает и спать почти невозможно. И все-таки я сплю, точнее, дремлю, а еще точнее, пребываю в каком-то темном, тревожном полузабытьи.

– Не поджимай ноги, не поджимай! – истошно выкрикивает кто-то напротив.

– В ухо заработаешь, Пашка, не ворочайся, – раздается через некоторое время на нашей стороне.

Кто-то скрипит зубами и постанывает. Кто-то подавленно вздыхает. Кто-то тихо, яростно ругается.

– Рука-а! – жалуется кто-то поблизости. – Раненую ру-уку отлежал... Старшой, а старшой!

Потом тишина. Чернота, дурман. Я сплю. И вдруг:

– На-а левый бок! – Это командует старший. Шумно поворачиваемся, притираемся друг к другу и опять как будто спим.

– На-а правый! – снова слышится голос старшего.
Вновь шум, шуршание соломы, стон и тихие ругательства.
И так всю ночь.

Рано утром скрипит дверь, струя ледяного воздуха бьет в ноги.

– Auf! Auf! – лает шеф.

– Подъем! – кричит старший.

Нас выпроваживают на улицу. Приказывают построиться. Шеф пересчитывает нас. Затем он берет шесть человек и отправляется на кухню за кофе. Мы должны дожидаться его, не выходя из строя.



Серый, холодный рассвет. Над внешним забором еще светятся лампочки – они все более тускнеют. Освещено и низкое барачное строение кухни слева от зондерблока...

Кто бы из нас год тому назад мог подумать, что в середине января 1943 года мы, командиры, политработники и бойцы Красной Армии, будем стоять под морозным небом где-то в Польше, в немецком штрафном лагере для военнопленных, окруженные рядами ржавой колючки, часовыми-пулеметчиками и предателями в форме и без формы, стоять и ждать, когда нам принесут теплое горьковатое пойло, именуемое кофе, пригодное, пожалуй, лишь для того, чтобы прополоскать наши пустые желудки. Мы были готовы ко многому: к вечной усталости, к страху, к боли от ран, даже к смерти в бою, но не к этому. Плен казался чем-то невыносимым и невероятным; никакие уставы не предусматривали случая, когда раненые или просто окруженные и расстрелявшие патроны бойцы могут попасть в лапы врага. Что же им делать теперь, как вести себя?

Мы стоим и ждем. Поеживаемся от холода. Терпим.

Наконец приносят кофе. Получаем по четверть литра и заходим внутрь. Выпиваем на ходу и вновь забираемся на нары. Не успеваем еще согреться после часового стояния на морозе, как угрюмый шеф снова гонит нас вон.

– Raus! – кричит он. – Raus! Raus!

Не кричит, а лает. Что за манера объясняться по-собачьи!

Толкаясь в узкой двери, опять выбираемся наружу. Лампочки уже погашены: светло.

– Становись! – командует старший.

Строимся в колонну. Нас человек сто пятьдесят – больше роты.

– Marschieren! – приказывает шеф.

Начинаем маршировать. Старший идет сбоку мелкими шажками и подсчитывает ногу:
– Раз, два, три! Раз, два, три! Левое плечо вперед... арш!

Огибаем землянку, похожую на овощехранилище. Низкая крыша ее засыпана снегом.
На нем – следы ног.

«Клац, клац, клац», – хлопают наши колодки по утрамбованному снегу. Очень неудобно маршировать в деревянной долбленной обуви.

«Клац, клац, клац»...

Шеф цепко следит за нами. Старый подлый бюргер, злой длинноносый гном!

– Halt! (Стой!) – кричит он, подходит к нам и вытягивает из строя Ваську.

– Не сбиваться с ноги! – командует старший. – Раз, два, три!левой!левой!

Продельываем очередной круг.

– Halt! – опять орет шеф и вытягивает еще двоих. Продолжаем старательно печатать шаг.

Но шеф снова к кому-то придирается. Рядом с Васькой уже четверо.

– Стой! – вслед за шефом командует старший. – Напра... во!

Смотрим, как подлый немец заставляет наших товарищей взбираться на крышу и сбегать по другому скату. Он гоняет их минут десять, потом разрешает вернуться в строй.

– Петь, – по-русски приказывает шеф. – Если сафтра фойна...

Мы снова маршируем вокруг землянки. Высокий осипший голос запекает:

Если завтра война, если враг нападет.
Если темная сила нагрянет, —
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет!
Мы подхватываем:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!

Что это – глумление? Конечно, глумление, но странно другое: как фашист не боится советской песни? Он стоит, выставив ногу в начищенном башмаке, и преспокойно крутит сигарету.

– Раз, два, три! Раз, два, три! – в паузе командует старший.

А запевала уже поет:

Мы войны не хотим.
Но себя защитим —
Оборону крепим мы недаром.
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!

Нет, не такой мы представляли себе будущую войну. Совсем не такой. Даже враги издали нам казались другими: слабее и, может быть, примитивнее.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —

Будь сегодня к походу готов!
Шеф взмахивает перчаткой.

– Стой! – командует старший. – Разойдись!

В землянку пока не пускают. Там убираются дневальные. Разыскиваю Худякова. Здоровуюсь с Костюшиным и Типотом.

Худякова трудно узнать. Шинель висит на нем, как на палке. Ноги обмотаны грязными тряпками. На одной колодке – трещина, он ее перетянул веревкой. Торчат острые скулы, кожа шелушится, в глазах – скорбь.

Я предлагаю ему походить.

– Знаешь, – говорит он, – натер ноги. Давай лучше постоим.

– У вас что-нибудь болит?

– Ничего... кроме сердца. Только сердце. – Он оглядывается по сторонам и горячо шепчет – Правду надо было говорить народу, пусть горькую, но правду. На правде воспитывать бойцов, а не так... как с этой малой кровью, на вражьей земле. – Он умолкает, потом, подняв голову, строго смотрит на меня. – Пойми правильно. Я и себя тоже критикую, я ведь тоже в какой-то мере в ответе за все, что с нами произошло. Мы начали поправлять свои ошибки, но какой ценой, какой ценой!..

– Вы насчет Сталинграда знаете? – спрашиваю я, желая приободрить его. Глаза Худякова оживают.

– Да, спасибо. Да ты не беспокойся за меня, я как-нибудь справлюсь. Пошли в барак, кажется, стали пускать.

3

Немцы в трауре. Немцы вывесили с черной каймой флаги... Весь февраль, словно в отместку за свое поражение на Волге, здешние немцы с особенным усердием измываются над нами. Метут метели, мокрый снег лепит лицо, а мы с утра до вечера маршируем и поем. От деревянных колодок кровавые мозоли на ногах, кружится от голода и слабости голова, а мы маршируем и поем. Злой гном, наш шеф, придумывает новое наказание для провинившихся: приказывает садиться в снег и сидеть, не шевелясь, пять минут. Кто не выдерживает – лишается обеда. «Раз, два, три!» – хрипло командует старший. «Если завтра война», – кажется, в тысячный раз ослабевшим, дрожащим голосом запекает запевала. «Клац, клац, клац», хлопают наши колодки... Тяжело, но и радость на сердце: наконец-то большой перелом в войне.

И скоро повсюду повернут их и погонят безостановочно – в этом теперь никто не сомневается.

Однажды под вечер в зондерблок приводят новенького: худого, старого, в огромных, слетающих с ног колодках. Зимодра, подойдя, обнимает его. Оказывается, это наш старший по Борисову, полковой комиссар, которого немцы возили в Берлин, пытаясь переманить на свою сторону. Не вышло! Молодец, товарищ полковой комиссар!

Утром его вызывают к зондерфюреру. Потом по очереди вызывают Зимодру, Худякова, Костюшина. День спустя к зондерфюреру ведут Типота, Виктора, Ираклия, Ваську и остальных наших (Ираклий потом рассказывает мне, что на каждого из нас заводится учетная карточка – вероятно, перед отправкой в какой-то новый лагерь). В числе последних вызывают и меня.

Длинноносый шеф указывает мне на дверь, куда я должен войти. Стучусь.

– Herein! – слышится изнутри.

Вхожу. Чистая, светлая комната. За письменным столом сидит одетый с иголки зондерфюрер Мекке.

– Фамилия?

Он помечает в карточке мою фамилию, затем перебирает тонкими пальцами картонные папки, видимо, наши личные дела.

– Можете сесть.

Сажусь на табурет, стоящий посреди комнаты. Страшновато почему-то. Мекке читает бумаги, усмехается.

– Вот почему вы сразу отозвались на мое «herein»... Вы были переводчиком в штабе полка?

– Да.

– Прекрасно. – Он откладывает папку в сторону. – Значит, если верить вам и бывшему вашему комиссару полка Худякову, вы не политрук?

– Нет. Когда я поступил в армию, мне было семнадцать лет, я еще не мог быть политруком.

– Я знаю ваши порядки, можете не разъяснять. – Мекке вооружается карандашом и листком чистой бумаги. – Отвечайте быстро: сколько вам лет и месяцев сейчас?

– Восемнадцать лет и четыре месяца.

– Дата рождения?

– Четырнадцатое октября тысяча девятьсот двадцать четвертого года.

– В каком году пошли в школу? Быстро, быстро!

– В тридцать первом. Мне не было еще семи лет.

– В каком закончили?

– В сорок первом.

– Сколько было лет?

– Шестнадцать.

– Когда поступили в армию?

– Четырнадцатого декабря сорок первого. Мне было семнадцать лет и два месяца.

Мекке отчеркивает карандашом свои вычисления.

– Stimmt, как говорится. Но это еще не все. Как вы семнадцати лет попали в армию?

– Пошел добровольно.

– Что, комсомолец?

– Да.

– Гм... Похвальная прямота. У нас здесь редко сознаются в своей принадлежности к комсомолу, то бишь к Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи, не так ли? Хотя мне-то отлично известно, что восемьдесят процентов вашей молодежи – комсомольцы. Еще несколько вопросов. Отвечайте быстро. Последняя занимаемая должность в армии?

– Заведующий делопроизводством в штабе дивизии.

– Звание?

– Старший... – Я прикусываю язык. Поймал меня, сволочь. Мекке насмешливо кривит губы.

– Старший политрук? Старший лейтенант?.. Не верю.

– Старший сержант, – помедлив, говорю я. – В Смоленске я зарегистрировался как техник-интендант второго ранга.

– С какой целью?

– Хотелось встретить кого-нибудь из командиров-сослуживцев.

– Понятно. Рассчитывал найти знакомых, стакнуться и бежать. Правда? Ну, ну, договаривайте до конца!

– Нет, – твердо отвечаю я. – О побеге я не думал.

Ишь чего захотел, проклятый шпион!

– Ладно, – говорит Мекке. – Где вы изучали немецкий язык? В спецшколе НКВД?

– В обыкновенной школе, в десятилетке. Кроме того, я брал частные уроки.

Мекке закуривает сигарету.

– И последний, так сказать, деликатный вопрос... Что бы вы сделали со мной, если бы я попал к вам в плен? – Его холодные, колющие глаза, кажется, прощупывают меня.

– Ну, как и любого немецкого офицера... – подумав, отвечаю я, но он прерывает:

– Расстреляли бы?

– Отправил бы в лагерь для военнопленных.

– Вы пешка, – внезапно раздраженно говорит Мекке. – Возможно, я переведу вас в блок для рядовых. Можете идти.

Вернувшись в зондерблок, я подробно рассказываю Худякову о своем разговоре с Мекке.

– Тебя обязательно выпустят отсюда, – говорит Худяков. – Только будь поосторожнее с незнакомыми. И вообще, научись не показывать, когда это нужно, своих чувств – побереги для настоящего дела.

– Постараюсь...

Тянутся снежные, вьюжные дни. Заканчивается февраль. Настает март. Мы все чаще поглядываем на восток, откуда вместе с солнцем приходят к нам новые надежды. В лагере упорно бродят слухи, что немцы медленно отступают по всему фронту. С мыслями о фронте мы теперь укладываемся на свои треклятые тесные нары, с этими мыслями пробуждаемся по утрам.

Очередное серенькое утро.

– Auf! Auf! – лает угрюмый шеф.

– Подъем! – кричит старший.

Шеф зовет его к себе и что-то быстро говорит ему.

– Всем выходить с вещами! – дрогнувшим голосом командует старший.

Неприятно сжимается сердце. Товарищи берут вещмешки, противогазные сумки – у кого что есть, я цепляю к крючку шинели котелок, и мы выходим. Выстраиваемся в колонну на дороге за оградой. Нас окружают конвоиры. Появляется Мекке в сопровождении нескольких офицеров.

Мекке достает из портфеля бумагу и начинает выкликать людей по фамилии в алфавитном порядке. Вызванные строятся отдельно.

Уходят полковой комиссар, Зимодра, наш старший – майор, Костюшин, Васька. Потом Виктор, Соколов, Типот, Худяков, Ираклий... Через четверть часа на дороге напротив зондерблока нас остается всего человек двадцать.

Мекке прячет список и вместе с другими офицерами направляется в здание комендатуры.

– Марш! – командует начальник конвоя. Колонна отобранных трогается. Даже не удалось попрощаться с друзьями!

Нашей группе приказывают повернуться кругом. Немец-ефрейтор и полицейский ведут нас мимо кухни к серому дощатому бараку, огороженному новеньким колючим забором.

– С новосельем вас, землячки, – улыбается полицейский, закрывая за нами калитку.

Ефрейтор с красным, пьяным лицом размышляет с минуту, затем, сняв перчатку, показывает нам два пальца.

– Zwei Mann. Kafee holen.

– За кофе. Двух, – переводит полицейский и указывает на меня и на плечистого синеглазого человека.

Мой новый приятель и напарник Саша Затеев – лейтенант-танкист. Он из Ельни. В плен попал раненный летом 1942 года. В лазарете для военнопленных кто-то сболтнул, что он коммунист, и с тех пор вот уже полгода он мается по карцерам и зондерблокам.

– Понимаешь, как получается, – печально говорит он мне, – ежели ты не подхалимничаешь и вообще стараешься держаться как-то по-человечески, моментально подозрение: коммунист, мол... Ну, что ты будешь делать?

– Слушай, Саша, – говорю я, – а тебе не кажется, что тут есть своя закономерность? То, что всех наиболее честных людей они считают коммунистами, – это ведь, по существу, здорово!

– Может, и так. – Он смотрит в барачное окошко, и вдруг на его лице изображается беспокойство. – Мюллер идет.

Мы слезаем с нар. В барак заходит наш новый шеф, ефрейтор.

– Ахтунг! – командует Затеев.

Он по нашему общему желанию исполняет обязанности старшего группы. Слезает с нар и остальные товарищи.

– Gleich kommen Zugänge, – говорит шеф Затееву.

Тот не понимает и вопросительно взглядывает на меня.

– Сейчас приведут новеньких, – вполголоса перевожу я ему.

– Гут, – отвечает немцу Затеев.

Пополнение поступает сразу после обеда. Новоприбывших человек восемьдесят. Среди них выделяется высокий, сухощавый человек с очень бледным, бескровным лицом. Я замечаю, что другие пленные разговаривают с ним с некоторой почтительностью.

В бараке делается тесно и шумно. Нас, «старичков», засыпают обычными вопросами: как здесь кормят, не бьют ли, что это за лагерь? Мы, в свою очередь, интересуемся, откуда их привезли и что слышно нового о фронтах.

Дня через три, обратив внимание на то, что я помогаю Затееву объясняться с шефом, высокий, сухощавый человек приветливо подзывает меня к себе.

– Залезайте к нам, – говорит он, подвигаясь на нарах...

Он чисто побрит, виднеется белая полоска подворотничка.

Я взбираюсь на нары.

– Товарищ старший батальонный комиссар, – обращается к сухощавому один из его соседей, – я пойду покурю у выхода.

– Идите.

«Значит, он старший батальонный комиссар», – думаю я. Мне очень нравится, что его называют по званию: видимо, тоже настоящие люди.

– Давно в плену? – так же приветливо спрашивает меня старший батальонный комиссар.

– Семь с половиной месяцев.

– Ну и как, конца войны будете дожидаться в лагере?

Вопрос меня настораживает.

– Хотелось бы не в лагере.

– Надо вырваться отсюда, – тихо говорит он. – Что вы об этом мыслите?

Я невольно оглядываюсь.

– А почему вы так прямо спрашиваете меня об этом? Разве вы знаете меня?

Он улыбается.

– А вас очень нетрудно понять. Вы хороший советский парень. Что еще надо?

Я чувствую себя обезоруженным.

– Постарайтесь узнать у шефа, сколько времени будут держать нас в этой клетке.

– Есть, – отвечаю я.

Он подает мне руку. Она большая и крепкая, и, по-моему, надежная рука.

Еще через несколько дней перед самым отбоем в зондерблок приходят три немецких солдата. Они хотят побеседовать с одним из политруков.

Старший батальонный комиссар вновь подзывает меня к себе.

Немцы сообщают, что их должны отправить на фронт. Воевать особой охоты у них нет, и вот они решили посоветоваться, как быть.

– Сдавайтесь в плен, говорит старший батальонный комиссар, и я перевожу его слова на немецкий язык.

– А как русские обращаются с пленными? – интересуется один из солдат.

– Не так, как вы... Немецкие пленные, например, получают у нас такой же паек, как наши военнослужащие, – объясняет старший батальонный комиссар.

Солдаты задают еще несколько вопросов, потом благодарят и уходят.

Проходит неделя, прежде чем мне представляется удобный случай поговорить с Мюллером. Мы относим пустые бачки на кухню, и на обратном пути я специально поотстаю от товарищей.

– Господин шеф, скоро кончится война? – по-немецки спрашиваю я.

– Война – дерьмо, – заявляет Мюллер. Он, как всегда, навеселе. – Война – свинство.

У меня сын пропал без вести на войне.

– На востоке?

– На востоке.

– Может быть, он в плену?

– Плен – дерьмо, – убежденно говорит Мюллер. – Раньше пленных обменивали, не то что теперь.

– Обменяют на нас.

– Только не на вас. Вам, парни, будет капут. Только молчи.

– Когда?

– Когда наберут комплект.

Возвратившись в зондерблок, украдкой передаю свой разговор с шефом старшему батальонному комиссару. Он молча кивает, а затем долго совещается со своими товарищами.

В первых числах апреля, около полуночи, до нас доносится беспорядочная стрельба. Утром дежурный полицейский, скаля зубы, говорит, что поляки-партизаны угнали со станции грузовик с боеприпасами.

– Куда угнали? – как бы между прочим спрашивается Затеев.

– Ма-алчать! – прикрикивает на него полицейский. – Зараз достанешь по морде. – Помолчав и подумав, все-таки отвечает: – В лес, на Буг. Куда же еще?

Два дня спустя, уже под утро, снова слышим близкую стрельбу. Завывает сирена: очевидно, лагерный гарнизон поднимают по тревоге. Мы лежим взволнованные и настороженные. Может, партизаны замышляют налет на лагерь, чтобы освободить нас?

Чуть свет в барак неожиданно является Мюллер. Вопреки обычаю он трезв и мрачен.

– Alles gaus! (Все на выход!) – приказывает он. – Alles!

И опять, как в марте, мы строимся в колонну. Опять зондерфюрер Мекке вызывает по списку. Опять, окруженные конвоем, уходят куда-то в неизвестность наши товарищи. Уходит и старший батальонный комиссар.

Не успели партизаны. Не успел, наверно, и старший батальонный комиссар осуществить какой-то свой план.

В зондерблоке вновь остаются «подозрительные»: командиры, обвиняемые в том, что они коммунисты, и рядовые – бывшие разведчики и те, кто пытался бежать из плена.

Дни становятся все продолжительнее и теплее. Все выше и ярче солнце, короче ночь. Теперь мы часами просиживаем возле барака, наблюдая через проволоку за тем, как во дворе соседнего блока играют в футбол пленные английские летчики.

– Ничего у них житуха, – ворчит Лешка Толкачев. – Письма и посылки из дому получают, жалованье им идет, чины тоже вроде присваивают.

Толкачев – старший лейтенант, горьковчанин. У него зоркие серые глаза и глубокий шрам на скуле. Он любит рассматривать его в осколке зеркальца, трогает пальцем, потом уголком белой тряпицы чистит золотую коронку-фикс.

– Тут как-то дежурный полицай рассказывал, что эти англичане совершили по два-три побега, причем двигались на восток, к нашей линии фронта, – говорит Затеев. – Поэтому их и засадили в штрафной лагерь.

– Вот и я говорю, что ничего у них житуха, даже в штрафном лагере. – Толкачев шумно вздыхает. – Только как волка ни корми, он все в лес глядит.

Затеев коротко усмехается.

– Потому нас и не кормят.

Лес от нас приблизительно в километре. В последнее время мы особенно часто поглядываем в ту сторону. Мы все еще не решаемся открыться друг другу до конца, но я уверен, что каждый из нас думает об одном и том же: как прорваться через эту колючку в лес.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.